

Ах, какой яркий, какой манящий свет! К нему мотыльком стремится душа, ибо подлинная жизнь лишь там, за ЕЁ окном, а то, что здесь, на остывающей в вечерней прохладе земле,— все смерть и тлен.

Ах, какой резкий, какой слепящий свет! От него бежишь опрометью, как застигнутый внезапно неуклюжий таракан, и хоронишься в щель, пока не обнаружилась твоя позорная слабость, твоя рабская привязанность, пока ОНА со своей высоты не заметила неказистую крошечную козявку, вызывающую лишь насмешки и желание размазать насекомое шлепком тапка.

Молодой человек неприкаянно бродит в надвигающихся сумерках у дома возлюбленной. Юноша то замирает, запрокинув голову, словно вкушая некую благодать, изливающуюся на него (на него одного! исключительно на него!) из заветного окна, то тaitся от посторонних взглядов в кустах палисадника или за деревом. Кому не знаком трогательно смешной образ скромного трубадура, беззвучно поющего серенаду под балконом прелестницы? Кто не сталкивался хотя бы единожды с таким трепетным воздыхателем?

Но преданный рыцарь, стоящий под окном своей дамы, не ощущает банальности ситуации, ибо он влюблен, влюблен всерьез, влюблен до умопомрачения. Свою большую любовь он меньше всего хотел бы выставлять напоказ, но совладать с собой не в силах, и неизменно приходит к таинственному замку, населенному феями различных рабочих специальностей и фабрично-заводскими троллями. Пылкий обожатель чуть ли не каждый вечер застывает у запертых крепостных ворот, которые стережет злобный огнедышащий дракон по имени Дуська, поднимает глаза горе и безотрывно глядит на четвертый этаж. Озорные работницы, возвращаясь со смены, перешептывались, указывая бойкими глазками на одинокую фигуру, хихикали. Парни косились недружелюбно: «К кому это он ходит?» Женатики снисходительно окидывали взглядом.

Витязь (звали его Саша) был, может быть, чуть низковат ростом, но в остальном — хоть куда. Густые русые волосы уложены волосок к волоску, открытый взгляд прозрачных серых глаз, мужественный подбородок, пропорциональное телосложе-

ние. Поэтому неудивительно, что еще со школьных лет девчонки не давали ему выхода. Да и Саша откликался на их знаки внимания с готовностью, но как-то так выходило, что ни одна не смогла завладеть его сердцем безраздельно. В новые отношения юноша всегда пускался вдохновенно, восторженно, будто в сказочное странствие, но каждый раз увлеченность, счастье познания женщины, страсть в итоге вызвали эмоциональную опустошенность и пресыщение. Саша пришел к выводу, что так, наверное, у всех бывает, а потому надлежит оставить надежду на встречу с единственной в мире, предназначенной специально для него спутницей жизни. И тогда он стал беззастенчиво использовать свою привлекательную внешность, чтобы склонить очередную пассию к близости, а затем отравлялся в погоню за следующей жертвой. Подобный стиль отношений с прекрасным полом вошел в привычку, так что Саша уже и не видел в этом ничего зорного.

Однако пришла настоящая любовь, любовь с первого взгляда. Саша, выпускник художественного училища, как раз начал работу над дипломным проектом. Он задумал двойной портрет в манере Глазунова: чистые одухотворенные лица, огромные печальные глаза, хоругвь на втором плане, предгрозовое небо фоном. «Перед Куликовской битвой» или «Князь Игорь»... Что-нибудь в этом роде, что-нибудь традиционно-новаторское. Концепция картины наметилась лишь в общих чертах, у Саши была только модель для главного персонажа — веселый русобородый студент-историк, выпивоха, подрабатывавший дворником во дворе дома, где Саша снимал комнату. Но нужна была героиня, условно говоря, Ярославна. Саша искал лицо.

Может быть, эта женщина сурова, гневна, в глазах ее горит огонь ненависти к супостатам, она стоит плечом к плечу с мужем и сама, если потребуется, готова поднять справедливый меч. Может быть, она кротко взирает на супруга снизу вверх, умоляя взглядом об одном: «Вернись живым!» А может быть, не на супруга, а на сына? Может быть, она преклонных лет? Или юна, почти девочка?.. Жизнь должна была дать Саше лицо.

Ход своих творческих поисков Саша периодически поверял любимому педагогу, изгнанному, впрочем, из числа преподавателей училища за пьянку. Когда начинающий живописец приходил в его квартиру, Станислав Борисович искренне радовался, проводил гостя на кухню и немедленно наливал по стакану самогона. Пожилой художник быстро хмелел, лицо, вызвездившееся мелкими малиновыми жилками, начинало подрагивать, подкатывали пьяные слезы, и речь непременно заходила о мастерах прежнего времени. Свернуть Борисыча с этой темы было уже невозможно: он многословно рассуждал о ничтожестве мазни современников по сравнению с творениями великих предшественников, он понимал всю глубину падения актуального искусства, он недоумевал по поводу творческих стремлений молодежи.

— Ты писать хочешь? — спрашивал старик Сашу, как бы удивляясь желанию юноши заниматься живописью. — Ты?! Писать хочешь?! Да нам ли с тобой, шмакодявкам, малевать на холстах? Что мы можем? «Веселые картинки»? Я всю жизнь отдал художественному училищу! Зачем? Для того чтобы воспитать десяток зрителей. Зрителей, толковых зрителей, не художников. Нам с тобой не писать надо, а ходить по музеям! По Третьяковке и Русскому музею. Все! Ходить и трепетать перед мастерами!

Станислав Борисович смахивал слезу:

— Ах, как они могли! Как они творили! Цвет! Рисунок! Композиция! И, главное, великое сердце за всем этим. Великое сердце! Полет духа к горным вершинам, парение всего существа! Ведь старая картина это же что? Это обращение к тебе как к равному. А равны ли мы с ними? Не-ет! Нам только «Веселые картинки» рисовать. Соцреализм какой-нибудь. Ты вот Ярославну ищешь, а тебе не Ярославна нужна, а доярка. Мясистая такая доярка: нос картохой, глаза серые, на щеках румянец... Тебе не

холст надо грунтовать, а возьми картоночку да плакатик сваргань «Решения XXVII съезда в жизнь». И доярку там нарисуй с грудью, сияющую, чтобы ее саму вместо коровы доить можно было! А вот ОНИ,— Станислав Борисович длинным пальцем указывал себе за левое плечо,— ОНИ могли!!

Саша следил глазами за жестом учителя, но не видел ничего, кроме зеленых обоев ядовитого оттенка. Однако палец Борисыча так настойчиво тянулся в пустоту, что необходимо было выяснить, что же там такое. Саша делал глоток из вновь наполненного стакана, и тогда казалось, что за стеной притаились Репин, Серов, Бенуа, Тициан,— словом, ОНИ. Становилось не по себе. Вдруг войдут и спросят строго: «Ты писать хочешь? Ты? Ты?!» Полы старой «хрущевки» скрипели от приближавшихся шагов. Для храбрости Саша залпом выпивал остатки мутной сивухи. И вот дверь из коридора приотворялась, в кухню заглядывала... жена Станислава Борисовича. Наваждение проходило, тучная растрепанная женщина раздраженно захлопывала дверь.

Станислав Борисович опускал голову на грудь, длинные седые волосы спадали ему на лоб. Речь пенсионера становилась все менее отчетливой:

— Да, у нас — «Веселые картинки». А вот они... Ты только представь себе. Они же брали на себя ответственность. Ведь что такое «Над вечным покоем»? «Боярыня Морозова»? «Демон»? Это жизнь. Они создали жизнь. Они демиурги! Представь себе: взяться и написать «Девятый вал». Это непостижимо! Вот это искусство, а не то что мы... Эх! Да ведь что же они сделали? Они нам ничего не оставили, все у нас отняли, все пережили, превозмогли, нас обокрали. На сотни лет обокрали. Мы — ничто. Нас нет. Плевки на асфальте перед Эрмитажем значительнее нас! Как они могли-и-и!

Станислав Борисович начинал рыдать в голос. Вновь возникала в дверном проеме его жена: «Опять завыл, тварь невыносимая!» Эти слова адресовывались ее благоверному, но при этом женщина косилась на Сашу, давая ему понять, что и он отчасти тварь, и его присутствие в квартире выносят с трудом. Саша внимал и уходил, не получив никакого совета относительно замысла своей картины.

Руководитель дипломного проекта, художник Цымбаларь, тоже ничем не помог. Его не интересовало виденье студентом полотна; ему было все равно, какой предстанет героиня картины; его сверхзадача заключалась в неукоснительном соблюдении сроков. Вечно занятый росписью какой-нибудь чайной, Цымбаларь отмаживался от надоедливости ученика:

— Ну, пиши без женщины. Одних мужиков.

— Нет-нет,— возражал Саша.— Мне нужен женский образ. Мать-земля. Родина-мать. Вера, надежда, любовь. Это же женщины! Без женщины нельзя.

— Ну, потом пририсуешь. Основа-то есть. Давай, пиши, не теряй времени,— Цымбаларь смотрел на часы.— До сдачи совсем мало времени осталось. Ты меня подводишь.

Саша опускал голову, замолкал. Повисала томительная пауза. Цымбаларь, желая поскорее разрешить возникшие затруднения, подсказывал начинающему собрату по цеху несколько конструктивных ходов:

— Ну, не знаю... Если лица нет, ты ее напиши со спины. Или анфас, но под покрывалом. Такой большой платок, спадающий складками. Под складками не видно лица. Это современно: пусть зритель додумывает, какая она. Сейчас надо творить по-новому. Без участия зрителя нет картины... А что, если, скажем, героиня вообще присутствует как черный овал? Князь — красный треугольник? А? Интересно? Сейчас так модно...

Саша молчал. Цымбаларю становилось совсем скучно, и он убежал, бросив на прощание:

— Давай, не тяни. Время поджимает...

А Саша никак не мог заставить себя приняться за работу. Станислав Борисович стакан за стаканом вливал в него яд творческого бессилия, Цымбаларь же механически повторял: «Давай, не тяни!» Душа болезненно раздвигалась между желанием создать новую «Неизвестную» и стремлением сдать диплом вовремя. Тупик!

Остро понимая всю безвыходность ситуации, Саша, тем не менее, последние дни, оставшиеся до сдачи государственного экзамена, обреченно тратил попусту: не за мольбертом, а блуждая по улицам в поисках натурщицы. Грустнее всего было то, что в городе не оказалось ни одного женского лица. Округлившиеся бабские ряшки — вот они; глупые мордочки смазливых девчонок — на каждом шагу; грубо раскрашенные гримом, потасканные, усталые до бесчувствия, испуганные до злости, хищные в своей затаенной хитрости маски представительниц «слабого пола» — сколько угодно. А лиц не было! Женщин не стало! Саша начал понимать, что дело не только в утрате секрета старых художников. Писать некого, поскольку люди не носят больше в сердце своем души, а в голове — мысли, и лица их, без горьких складок в уголках губ, без веселых морщинок у глаз, без рельефных, выпуклых лбов, утратили особость и скоро превратятся в одинаковые, гладкие, лоснящиеся воздушные шарики.

Открыв для себя эту горькую истину, Саша подивился гениальности модернистов, ознаменовавших собой конец эпохи иконописных ликов и начало периода плакатных мордovorотов. Как смело нам показали нас же самих в искривленном, покрытом трещинами зеркале современного искусства!

И вот, когда творческая энтропия окончательно парализовала волю, когда фрустрация достигла пика, Саша вдруг встретил свою Ярославну. Причем произошло это настолько буднично, обыденно, что потребовалось немало времени для осознания масштаба произошедшего.

Однажды, торопясь вскочить в отходивший от остановки трамвай, юноша с разбегу наткнулся, словно на стену, на спокойный, несуетный взгляд. Саша почувствовал, что больно ударился об это лицо, отпрянул назад, чуть не сорвался с подножки переполненного вагона, но, подтянувшись к поручню, оказался в буквальном смысле у ног молодой женщины. Но та ничего не заметила. Она смотрела сквозь людей, и глаза ее были озера, в которых все отражалось, но ничто не могло смутить величественной глади. Как-то сразу стало понятно: ОНА, НАШЕЛ. И слова эти были применимы не только к картине (не столько к картине!), но и к художнику. Он чувствовал, что нашел не модель, а судьбу.

Странно, но точнее всего описать ее внешность Саша мог бы, перечисляя недостатки, а не достоинства. В линиях почти круглого лица не было никакой утонченности. Волосы и брови неопределенного белесого цвета. Серо-голубые глаза глубокие и лучистые, но покрытые какой-то пеленой, словно на выцветшей фотографии. Нос... обыкновенный, протестский прямой нос. Губы полные и мягких очертаний. Хотя это, наверное, уже достоинство. Или нет? Подбородок круглый и тоже мягкий, с ямочкой. Короче говоря, детальный физиогномический разбор не вдохновил бы живописца, а вместе с тем черты эти манили таинственной гармоничностью.

Почти неуловимые штрихи одухотворяли весь облик: мягкие складочки в уголках губ, едва угадываемые ямочки на щеках... А выразительнее всего были, конечно, глаза — с поволокой, как будто туман стоит над лесными озерами, с лучистыми искорками, словно уютный костерок теплится над водной гладью. Оно влекло к себе, это сокровенное пламя, манило отправиться в захватывающее путешествие, в поход к загадочному озерному берегу, к романтичному одинокому огоньку, в поход длиною в целую жизнь.

Лицо женщины было почти младенческим, детским и при том, казалось, останется неизменным до старости. Впервые увиденный, ее образ представлялся знакомым,

даже родным; он не воспринимался, а воспринимался. Вот такое лицо искал художник для картины: оно и для прощания перед боем, и для встречи после длительной разлуки; и для страстных долгих поцелуев, и для платонического созерцания. Оно таит умение простить мужчине предательскую слабость, но оно же внушает мужественную непреклонность. Хотя, не греша против истины, можно утверждать, что заключенное в этих как бы узнаваемых чертах гармоничное спокойствие скрывало в себе также и природную леность, и туповатое безразличие...

Когда же незнакомка сошла с подножки трамвая, стало понятно, что и фигура ее ничего экстраординарного собой не представляет: все было на своих местах и выглядело привлекательно, но что-то слишком просто. А между тем Саша (он, конечно, подобно сомнамбуле, в отдалении следовал за своей Ярославной от остановки до самых дверей, за которыми она скрылась, и, не смея проникнуть далее, долго силился понять, есть ли какой-нибудь смысл в слове «общежитие», начертанном на табличке рядом со входом) дивился этой женщине, как загадке, равной Сфинксу и Джоконде.

С этого дня все пошло вразнос. Саша почти перестал посещать занятия в училище. Живопись больше не интересовала его, ибо вдруг оказалось утраченным всякое представление о фактуре мира и о цветах его. Юноша чуть не сутками валялся на кровати в съемной комнатке коммунальной квартиры либо бродил окрест рабочего общежития с единственной целью: хотя бы издали взглянуть еще раз на поразившую его женщину. Он не решался подойти и заговорить с ней, он не знал о ней ничего, даже имени. Единственное, что выведal, высчитал, угадал Саша после продолжительного топтания у ставшего почти родным крыльца — где находится окно ее комнаты. Вот отрада! Робкий воздыхатель теперь не просто обшаривал томным взглядом фасад здания, а сосредотачивался на заветном прямоугольном проеме, и изредка в награду за преданность ему дано было любоваться словно бы заключенной в картинную раму фигурой своей возлюбленной.

На предварительной защите дипломной работы Саша ничего не смог показать своему руководителю. Художник Цымбаларь пришел в ярость, кричал, стучал пальцем по столу, пугал преисполненного равнодушия студента тем, что документа о завершении образования тому не видать как своих ушей. В ночь перед сдачей «госа» Саша счистил с холста все наброски, по-новому загрунтовал его, наложил крупными мазками бежевый фон, набросал какие-то фиолетовые уступы. На переднем плане изобразил большой красный треугольник, из-за которого выглядывал черный овал. Поставил подпись и для верности приписал: «Киевская Русь».

Председатель выпускной комиссии мутными глаукомными глазами долго гляделся в представленное полотно, потом страдальчески сморщил лицо, обвел собравшихся недоуменным взглядом, как бы ища поддержки, и попросил Сашу выйти. Закрывая дверь аудитории, Саша слышал, как уверенно басил Цымбаларь:

— Я возмущен не меньше вашего. Где они только набираются этих идей?! Мы же с вами их этому не учим!.. Наброски он мне показывал совсем другие. Интересные, реалистические...

Вот так Саша не стал дипломированным специалистом. Однако ему удалось устроиться художником-оформителем в кинотеатр «Слава». Своей работой молодой человек был доволен, поскольку малеванье циклопических афиш несколько не отвлекало от мечтаний о НЕЙ. А вечерами рыцарь печального образа неизменно занимал свой пост под стенами общежития. Созерцая единственное в мире окно, он подспудно накапливал запас духовной энергии и собирал в кулак волю, которая понадобится ему однажды, когда он все-таки поднимется на четвертый этаж и откроет ЕЕ дверь... Что будет дальше, Саша еще не придумал.

В подвале «Славы», где помещалась сырая «художка», Саша все глубже погру-

жался в готическое мировосприятие, поэтому вполне закономерно показалась произошедшая в один из дней материализация из промозглой тьмы подземелья некоего странного существа. С шелестом летучей мыши подкралось оно сзади и остановилось за спиной. В тишине слышались только звуки скольжения кисти по натянутой на подрамник дерюге да свистящее дыхание необычного пришельца. Осторожно оглянувшись через плечо, Саша увидел фосфоричировавшие глаза, неотрывно следившие за движениями флейца. Пользуясь гипнотическим трансом незнакомца и пустив руку широкими махами, Саша смог рассмотреть ассиметричное скорбное лицо с высоким морщинистым лбом, запавшими глазами и жидкой бородкой, сутулую тщедушную фигуру, облаченную в траурное одеяние. Несостоявшегося живописца поразило детальное сходство этого человека с портретом Микеланджело. Так он навсегда и остался в глазах Саши двойником титана Возрождения, даже когда выяснилось, что таинственный гость всего лишь дворник при кинотеатре. В современном мире Микеланджело, конечно, не мог стать никем иным, кроме запойного уборщика мусора!

Они сдружились, и это была странноватая дружба. Вербальное общение сводилось к минимуму, поскольку дворник отличался редкостным косноязычием, а Саша под напором нахлынувшего чувства, казалось, навсегда потерял интерес к разговорам. Если безмолвный товарищ являлся к нему в подвал, то мог часами с неподдельным интересом наблюдать за процессом грунтовки, за тем, как из-под кисти появлялись буквы или изображения людей. А Саша в его присутствии уже не так остро переживал одиночество, но в то же время был избавлен от необходимости делиться с кем-то своими интимными переживаниями. Юноше казалось, что так неожиданно обретенный наперсник без слов понимает его мятущуюся душу, прозревает в афишных поделках все страдание его трудной любви. Странную роль играл дворник в жизни Саши: он стал Санчо Пансой и Квазимодо одновременно.

Дворник как будто понимал, что оказался единственным и лучшим ценителем Сашиного творчества, самой Сашиной жизни. Желая ответно раскрыть перед другом свое самое сокровенное, он приучил паренька пить одеколон. От глотка оглушающей маслянисто-пахучей субстанции Саше становилось легче, появлялась вера в себя и в чудеса: если удастся выживать после такого чудовищного насилия над организмом, значит он сможет пить и расплавленный металл, и ртуть, и спать на гвоздях, и ходить по углям... И, наверное, если опорожнить несколько пузырьков «Полета», можно оторваться от земли, красиво влететь к НЕЙ в окно, взять любимую за руку и беспрепятственно затащить в облака... Похоже, Шагал тоже употреблял одеколон не только как парфюмерное средство!

Пристрастившись к суррогатному алкоголю, Саша стремительно разрушался. Сначала исчезли убитые одеколоном вкусовые ощущения, затем подступила глухота, а там уж приближалось помешательство. Но все это воспринималось логическим продолжением процесса перерождения, начавшегося после встречи с Ярославной. И то, что он перестал как художник видеть цвета, и то, что отказывали другие органы чувств, проистекало из невозможности принять такое устройство мира, при котором непостижимая тайна любви помещается в несовершенном и по-бытовому доступном женском теле. Почему приходится мучиться, оттого что однажды увидел незнакомую, чужую женщину? Возможно ли, чтобы смысл человеческого существования помимо воли человека помещался вне него самого? Что происходит?

Споткнувшись тогда в трамвае о любовь, споткнувшись на ровном месте, Саша уже не в состоянии был найти надежные ориентиры. Поэтому краски и созвучия разбредались бесформенным стадом, и выстроить их в систему, воссоздать прежнюю чувственно воспринимаемую картину мира не представлялось возможным.

В подвале рядом с «художкой» постоянно работал репродуктор, но хрипы его

почему-то не складывались в членораздельную речь или музыку. Саша пытался что-то говорить вслух с собой наедине, пробовал петь — и ничего не слышал. Он старался выговаривать слова очень медленно и очень громко. Получалось еще хуже: какая-то какофония несочетаемых по высоте и продолжительности звуков. Однако дворник участливо внимал Саше, кивал головой в знак согласия, иногда блаженно улыбался. Саша брался за кисть, писал ровными или волнообразными строчками названия фильмов, срисовывал с фотографий портреты актеров. Выходили чудовищные мертвецы с лицами, потравленными адскими тенями. А директор кинотеатра, принимая работу, довольное кивал головой, хлопал оформителя по плечу, произносил что-то, и только приложив неимоверные усилия, Саша разбирал, как сквозь толщу воды, несколько слов из его бляения: «Мо-ло-дец! По-хо-же!»

От всего этого Саше хотелось выть, и иногда он выл. «У...у» — для разгона басовито пробовал он. Потом делал глубокий вдох и выдавал долгую руладу, сходу забираясь на высоченные ноты: «У-у-у-у-у-у!» При этих звуках даже в глазах дворника мелькал страх. Вой дрожал, отскакивая от стен подвала, крутился в кубовой, заставлял подрагивать стекло в форточке кассы. Однажды, желая разобраться в происходящем, в «художку» заглянула кассирша, трепетавшая, как жертвенная овца. Она увидела Сашу, который, одну ногу поставив на необтянутую холстиной рамку и по-волчьи запрокинув голову, самозабвенно выводил: «У-у-у...у-у-у-у...у-у-у-у!» Рядом сидел на ящике дворник. Черный халат его сливался с полумраком, а голова покачивалась в такт завыванию. Похоже было, что искушенный меломан внимает своему кумиру. У старенькой билетерши прибавилось седых волос, и больше в подвал она не спускалась, хотя слыла бойкой бабенкой и даже удостаивалась несколько лет назад нагрудного знака «Отличник ДНД».

Постепенный распад личности сделал ежедневные сеансы завывания необходимою, заменой творчества. Саша вполне серьезно начал считать издаваемый им рев проявлением сути художества, находил в нем множество оттенков, как на палитре: чаще всего болезненно-заунывный, он иногда становился ярким, жизнеутверждающим. А что если отраженные в звуках цвета его души выставлять в галерее, как картины? А что если кроме похожего на Микеланджело мусорщика найдутся и другие ценители? Вот это, действительно, был бы новый подход к искусству, невиданное ранее слияние творца и публики, прямое, без посредства холста и красок...

Но это возможность, будущность. Сейчас же самым ужасным было то, что вампирские приступы воя стали накатывать на Сашу в людных местах, в частности, под окнами рабочего общежития. Он, конечно, сдерживал себя, соображал: заберут. Хотя спецбригада из психушки ему уже определенно предуготовлена. Саша понимал это с каждым днем все отчетливее, и только один вопрос по-прежнему саднил в мозгу занозой: а из-за чего, собственно, он сходит с ума? Почему именно на него в одночасье свалились и беспросветная любовь, и осознание собственной бездарности, и неэстетичность окружающей жизни, и алкоголизм, и дружба с дворником-Квазимодо? Чем Саша заслужил столь жалкую участь — торчать в подвале кинотеатра и ощущать свою раздавленность? Доколе его судьбой будут вонючая полутемная «художка» и костоломная любовь?!

А сегодня вдобавок ко всем злоключениям Саша увидел за распахнутыми створками на четвертом этаже какого-то мужчину. В ЕЁ, то есть в его, окне маячил посторонний человек... Он по-хозяйски пускал дым из того окна, которое уже несколько месяцев было для Саши средоточием всех помыслов и эмоций...

Ревности юноша не испытал, и от этого стало даже капельку легче: раз нет ревности, значит, изначально не было и любви. Той любви, когда держатся за руки в кинозале на последнем сеансе, а ладони потеют, и это приятно. Той любви, когда

фата, Мендельсон, «! орько!» Когда дети, пеленки, дни рождения. Саше на долю выпало другое: любовь-удивление, любовь-радость-узнавания-что-ОНА-живет-на-свете. Все равно, где, как, с кем живет, но ОНА есть, и это удивительно прекрасно. Поэтому Саша, который вдруг открыл для себя, что бескорыстие — высшее любовное наслаждение, активно, деятельно не хотел сближения с возлюбленной; достаточно лицезреть ее издали. Нет, ревности не было. Но и жизни не было. Следовало срочно что-то предпринять. Что???

Мужчина в окне докурил и резким мощным щелчком запустил окурок в небо. Саша невольно проследил глазами за тем, как нарочито медленно вычерчивалась в сумерках светящаяся парабола. Вот огненная точка потянулась в высоту, вот, обессилев, зависла в зените. В этот миг остановившегося полета Саша по какой-то неуловимой ассоциации представил себе лицо любимой, и впервые оно виделось без ослепительных лучей своей таинственной гармонии, исключительности. Вроде бы даже не существовало боготворимого лица, раз оно оказалось не редкостным, а заурядным, обыденным, таким же, как у тысяч других женщин. Любопытное предположение стало постукивать в висок: а если вся прелесть очаровавшего его лица заключалась в совмещении черт множества лиц, которые он попытался полюбить в одном?.. Окурочек начал замедленно падать прямо на голову молодому человеку, а тот заворожено смотрел на это пике и не догадывался отойти в сторону. Багровый огонек становился крупнее, выделился еще явственнее, перелетев со светлого фона неба в земные сумерки. «Что я делаю? — подумал Саша и отступил на шаг. — Что я тут делаю?» Нелепость последних месяцев его существования вдруг обозначилась совершенно отчетливо. В голове неожиданно высветились целые залежи хлама, целые завалы неусветной глупости. Сознание стало проясняться лишь сейчас, когда Саша увидел окурок, летящий из окна на четвертом этаже, словно любовное наваждение за секунду было отсечено огненным клинком. И едва уголек шлепнулся на асфальт рядом с его ботинком, художник двинулся прочь, будто чей-то голос строго распорядился: хватит терять время в беспомощном топтании на ступенях общежития, нужно завтра пойти к ней и объясниться, а дальше видно будет.

Саша размашистыми шагами двинулся мимо шеренги высоких кустов, высаженных вдоль тротуара, не подозревая, что идет напрямик на встречу с неведомым. А когда в полутемной аллейке перед ним предстало привидение, подумалось: наверное, это усыпленный одеколоном разум рождает чудовищ, или, может быть, пылинки влетела в начинающий слепнуть глаз. Однако, несколько раз энергично тряхнув головой, юноша убедился: действительно, на фоне беспросветности начинавшейся ночи прямо на его пути осязаемо бледнело нечто человекоподобное. Саша смекнул, что судьба приготовила ему еще одно испытание мистикой. Ну, значит, надо пройти и через такое! Парень не свернул в сторону и даже не остановился, только сместился на ходу ближе к кустам, чтобы все-таки обогнуть привидение, а не проходить сквозь его туманное тельце. Однако призрак зеркально повторил маневр человека. Саша принял в другую сторону — фантом тоже. Расстояние между ними стремительно сокращалось, столкновения уже нельзя было избежать. Саша, по-прежнему не сбавляя скорости, вытянул руки, чтобы отстранить надвигающееся видение, но и оно взмахнуло краями своего савана, явив во тьме сереющий ромб. Они столкнулись, схватив друг друга за плечи, почти обнявшись. Из-под свисающего кипенного колпака зияющая чернотой пустота зазмеилась каким-то шершавым шипением: «Хочешь спастись?»

Тут бы юноше завзывать с небывалой силой, чтобы выражавшаяся в его волчьей колоратуре неизбывная тоска разметала привидение в ключья сероватого марева. Но Саша не меньше, чем призраков, боялся милиции или санитаров, поэтому молча отбивался от крепко державшего его существа. С минуту они возились, сосредоточенно

сопя, и постепенно парень стал уступать в борьбе. Ничего другого не оставалось, и он все-таки взвыл. Сначала коротко, словно клонув жилистую белую массу в то, что у человека считалось бы лицом: «У!» Затем монотонно и длинно, как злая, бесчувственная корабельная сирена в океанской дымке: «У-у-у-у-у-у-у!!!» Привидение испугалось, отшатнулось и свалилось, нецензурно ругаясь.

Саша огляделся, сам оглушенный собственным воем. В окнах окрестных домов возникали встревоженные лица, из дверей общежития опасно выглянула подвязанная теплым платком старушка. Звонок в милицию следует через минуту. Молодой человек оправил одежду и, боязливо поглядывая на поверженное привидение, копошившееся под простыней, ускоренным шагом удалился. «Да ну его к черту, этого дворника с его одеколоном!» — подумал Саша.

V

«Сколько же психов развелось на свете!» — ворчал про себя Иммануил. Он лежал на жестком равнодушном дорожном покрытии, пытаясь выпутаться из складок своего белого балахона. Высота поднебесья давила на Иммануила всей тяжестью, и он невольно медлил, еще мгновение хотел поваляться на земле, отдохнуть, прежде чем встать, чтобы влечить дальнейшее существование. Шершавый асфальт, почти растворившийся в войлочных сумерках, уже остыл, однако едкая тротуарная пыль впитала весь дневной урожай печального августовского солнца и оставалась тепла и летуча, поэтому быстро забила пазухи носа. Иммануил несколько раз чихнул. Со стороны могло показаться, что в уютной темноте кто-то хихикает высоким голосом. Язвительный вечер кривил рот в змеиной улыбочке, наблюдая за человеком, запутавшимся в простыне.

Столкновение с юношей, резко пахнувшим одеколоном, и последовавшее падение привели Иммануила в смятение: «С виду приличный парень, а воем, как ненормальный! Главное, воем как жутко. Просто мороз по коже». Иммануил, наконец, поднялся. Страхивая пыль с измызанного наряда, он испытал глубочайшую грусть: сколько ни колоти ладонью по некогда белоснежной ткани, все равно следы нечистоты на ней оставались заметны. И это наглядное подтверждение до обидного однозначной пословицы «Береги честь смолоду...» очень раздражало. «Ну, все, теперь только выбросить!» — с досадой решил Иммануил, прекратив попытки вернуть балахону первоначальный вид. Он огляделся по сторонам. Никого вокруг. Но видимость спокойствия обманчива: человек в белом одеянии кожей ощущал, что прячущиеся за оконными стеклами люди наблюдают за ним пристально и неприязненно. «Надо поскорее отсюда сматываться, а то еще меня заметут вместо того психа», — Иммануил ускорил шаг и не останавливаясь прошел мимо входа в общежитие, которое с таким трудом разыскал в этом глухом, враждебном районе.

Вообще, Иммануил не любил бывать в отдаленных концах города — здесь его кипенное одеяние всегда вызывало агрессивную реакцию. Именно в предместье постоянные угрозы и многократные попытки избить странного пришельца реализовывались с удручающим постоянством. Иммануил хорошо себя чувствовал на центральных улицах: там народ сдерживает эмоции, там больше людей с высшим образованием, с духовными запросами. Там легче вступают в разговор, легче подают. Правда, там же находятся и церкви, которых на рабочих окраинах не сыскать. Ну да сколько их, действующих-то, даже и в центре? Кот заплакал.

От церквей Иммануилу следовало держаться подальше, поскольку он в настоящее время сам работал святым. К своим тридцати шести годам Иммануил кем только ни побывал! Он (правда, тогда у него имя было другое) учился в институте, служил в

армии и даже какое-то время занимал должность замполита ракетного дивизиона, был инженером на заводе, директором заводского клуба... Всякого повидал!

Где-то под Кременчугом росла в чужой семье его дочь. Возможно, что детей было несколько, Иммануил точно не знал. Расписан был дважды, дважды разведен. А уж сколько женщин сопровождало ветреника на тернистом жизненном пути — не сосчитать. Теперь, по причине святости, приходилось себя ограничивать. Всего две у него сейчас... послушницы, так сказать.

Главное, чего всегда хотел добиться Иммануил в ходе своих профессиональных и семейно-бытовых метаморфоз, была независимость от командиров, рабочих графиков, жен и домочадцев. Теперь это, наконец, было достигнуто. У святого свобода полная. Проголодался — тут тебе и обеденный перерыв. Захандрил — вот тебе и выходной день, валяйся на диване. Загляделся на облако интересных очертаний — стой, любуйся, проводи сам с собой летучку и производственное совещание. Кроме того, всегда рядом истеричные, согласные на все последовательницы. Плюс ко всему — власть над людьми, которые полностью подчинялись ему, безвозмездно отдавали свое время, жертвовали свое имущество. Доходы у основателя новейшей общины единоверцев не шибко высокие, но сносно существовать можно... Словом, Иммануил устроился в жизни, что и говорить. Казалось бы: живи и радуйся.

Но! Свойственно человеку в мечтаниях своих заглядывать за горизонты обыденности, потому мало кто довольствуется тем, что имеет. Любой уверен, что достоин лучшего, чем выпавшая ему участь. Вот и Иммануил: вроде — святой; чего сверх того желать? А возжелал. До неприличия даже... Хотелось Иммануилу расширить и обособить свою общину. Ему представлялось поселение вроде пионерского лагеря или военного городка. В центре — его резиденция, лучами расходятся от нее улицы, застроенные домами (или палатками хотя бы, на первое время) с послушниками. Все так чинно, возвышенно... Единственная власть в поселении — Иммануил, единственный закон — его воля, единственный завет — его желания.

А что могло помешать создать такую колонию? Иммануил был уверен в реалистичности своего плана. Вся жизнь подводила будущего вероучителя к выводу: люди не хотят свободы, боятся ее. Это отчетливо наблюдалось и в общественных отношениях: чем меньше жесткости проявляло государство, чем терпимее относились оно к шалостям своих подданных, тем больше дурели граждане, тем охотнее приходили к Иммануилу. Соотечественники массово стремились вручить свою судьбу кому-то мудрому. Прежние начальники оказались дискредитированными, косность и глупость партийной номенклатуры была разъяснена населению в печати, и общественное мнение восприняло это разъяснение с радостью, ибо раньше и само так считало, только опасалось открыто проявлять фрондерство. Теперь же, прочитав свои потаенные думы напечатанными в газете, общественность уверилась в них, как в аксиоме. Поэтому срочно требовался новый нравственный авторитет, но непременно такой, чтобы ни обликом, ни строем мысли не походил на отринутых вождей, на кумиров уходящей эпохи. Наиболее нервные советские люди искали надежного духовного прибежища, устоев которого не поколебали бы возможные грядущие «перестройки». Естественно, что самым прочным должно было стать нечто противоположное насаждавшемуся официальной идеологией кондовому материализму, нечто эфемерное, желательно мистическое. Тут Иммануил и предлагал себя, как осязаемую, но нетленную святыню. Он разрешал все проблемы, снимал все стрессы. Он успокаивал и излечивал. Он уводил от обрыдшей грязи существования в гармонию грез. И чего же требовал взамен? Сушью безделицу: обесценивающиеся деньги, неудобные квартиры, ломающиеся автомашины. Люди с охотой расставались с этим мусором, обменивая его на чувство причастности к стаду белых агнцев, ведомых мудрейшим и блаженнейшим из пасторов.

Убедить же адептов в их собственной избрности для Иммануила не состав-

яло труда. Он вообще умел говорить с людьми и шел к своему виртуозному мастерству поэтапно, начиная со школьных лет. В то время как несознательные отроки под любыми предлогами стремились сбежать с вмененных им в обязанность собраний членов ВЛКСМ, Иммануил неизменно там присутствовал и непременно брал слово. Маленький прыщавый докладчик, горделиво держа спину, чуть приподняв подбородок, чем напоминал гимнаста перед выполнением упражнения, поднимался на сцену актового зала школы и приступал к сеансу болтологии. Он вещал азартно, слегка подвывая от верноподданнического восторга, а речи его были настолько долги и нудны, что даже президиум собрания изнемогал от изрекаемых пошлых, но надежных, как валенок, комсомольских истин, однако остановить болтуна никто не решался. Иммануилу, который, стоя на трибуне, ощущал свою неуязвимость за непробиваемой броней марксизма-ленинизма, нравилось видеть, как постепенно млела аудитория, внимая ему. Юный оратор сладострастно предавался словесному блуду, снова и снова с садистским восторгом вколачивая в головы слушателей гвозди идеологически выверенных фраз, сознательно десятки раз повторяя опорно-ключевые понятия советской риторики, чувствуя, что через несколько часов этой добровольно-принудительной ритуальной пытки люди согласились бы отдать себя на самую чудовищную казнь, только бы не слышать очередного демагогического пассажа.

А после собрания Иммануил, словно страстный коллекционер, бережно перебирал в памяти осколки впечатлений от комсомольских радений, подолгу питался этими воспоминаниями, набирался от них сил для будущих ораторских подвигов. Сопливым Цицерон смаковал пикантные детали своего выступления: как до прозрачности пустели глаза парторга-завуча; как впадал не то в транс, не то в дремоту приглашенный на собрание гость, старичок из числа первых комсомольцев; как постепенно покрывался обильным потом толстый председатель собрания из выпускного класса, как находившиеся в зале старшеклассницы томно взмахивали ресницами, равнодушно-порочно заводя вверх глаза, — ох, не о решениях партии и правительства они думали, грешные плотские мысли обуревали их, но сидели вместе со всеми, покорно слушали...

Потом, когда годы учебы остались далеко позади, Иммануилу с кем только ни приходилось беседовать: с нерадивыми солдатами, с пьяницами-работягами, с капризными провинциальными деятелями культуры, с торговыми работниками, с сотрудниками правоохранительных органов... И при необходимости любого удавалось заболтать до такого состояния, что собеседник закатывал глаза, начинал невольно кивать головой в такт словам речеплета, наконец, соглашался на все, лишь бы прекратить ведущийся по всем правилам, но тошнотворный разговор.

Словом, у Иммануила был несомненный талант — он умел добиваться в итоге общения нужного ему результата. Дар редкий, безусловно, востребованный в жизни позднесоветского общества, но, как и другие выдающиеся способности в этой сфере, не дававший своему носителю материальных выгод, адекватных одаренности. Наверное, в годы революции и гражданской войны Иммануил построил бы головокружительную карьеру. Он был способен распропагандировать и привести в стан «красных» хоть казачью сотню, хоть полк колчаковцев. Но кого агитировать на восьмом десятке лет существования советской власти, когда все и без того уже на все согласны и во всем убеждены?

Конечно, в Советском Союзе формирование у населения коммунистического мировоззрения не прерывалось ни на минуту, но давно уже перестало быть делом вдохновенных ораторов и превратилось в конвейер идеологической обработки с помощью массовых методов воздействия, поддающихся контрольным замерам и цифровым измерениям. Стать к такому конвейеру доверяли далеко не каждому, специалистов

отбирали тщательно, отдавая предпочтение проверенному номенклатурному резерву, в который входили, по большей части, люди, связанные личными симпатиями и общими интересами. «Блата» у Иммануила не было, он мог рассчитывать лишь на собственную расторопность, а не на покровительство кого-либо из сильных мира сего. Поэтому к вершинам успеха приходилось ползти с самых низов, с должности армейского политработника в отдаленном гарнизоне. Это неперспективное, пыльное и беспокойное место не интересовало «позвоночников» (сынков высокопоставленных чиновников), но было доступно «простому советскому человеку».

Однако в грубоватой, далекой от игры мысли и прямолинейной среде служивого воинства Иммануил чувствовал себя неуютно, его горделивая артистичность оказалась чужда подчеркнuto мужественному стилю общения офицеров. А самое главное, выяснилось, что наследники пламенных комиссаров Красной армии с настороженностью и даже отчасти брезгливостью относятся к коллегам, у которых хорошо подвешен язык. Начальник Иммануила прямо так ему и говорил: «Ну тебя на хрен! Чего ты выступаешь все время? Ты чего-нибудь ляпнешь, а мне отвечать за тебя, чудака. Молчи, на хрен. Молчи! Понял?» Словом, проявить все свои недюжинные способности Иммануилу не давали, перспектива карьерного роста оказалась сомнительной, а других резонансов тянуть армейскую лямку не находилось. Иммануил уволился из вооруженных сил.

Полученное образование позволяло работать и по гражданской специальности, но производственная деятельность угнетала не меньше, чем служба в войсках. Иммануил страдал, задыхался в рамках рабочего дня, стодвадцатирублевое инженерское жалование могло дать ощущение лишь прозябания, а не жизни. А в груди kloкотали силы, бурлили соки, трепетали желания. Смутные эти позывы влекли его от одной должности к другой, и каждый раз все оказывалось не то, совсем не то, чего он хотел! Новые места работы мелькали надоедливой каруселью, а кадровики по своему беспроволочному телеграфу уже передавали друг другу нехорошее слово: «Летун».

От женщины к женщине Иммануил тоже метался беспокойной птицей, хотя уже многократно убедился, что ни одна не способна дать ему чего-то большего, чем быстрая и часто самопроизвольная разрядка. И все же Иммануил кидался на каждую юбку, словно бык на красную тряпку, потому что разговор с женщиной перед тем, как она согласится, позволял оттачивать умение убеждать.

Ни привлекательностью, ни мужественностью Иммануил не отличался, напротив, имел грубо обтесанное вытянутое лицо и нескладную оглоблеобразную фигуру. Но выбранная им фемина редко могла устоять перед мастерством риторика. Находились даже такие экзальтированные натуры, которые от одной только болтовни речистого казановы чуть ли не до оргазма доходили. Однако чаще всего несчастные отдавались неказистому любовнику буднично и скучно, лишь бы только отделаться от него, лишь бы не приставал больше с занудной болтовней; а затем поспешно отправлялись по своей жизненной дороге дальше, деловито поправив лифчик, отряхнув колени, стараясь поскорее забыть произошедшее, как это бывает с женщиной после легкого столкновения с автомобилем.

Годы шли своим чередом, и Иммануилу, уже выдыхавшемуся, уже почти смирившемуся с тем, что придется покорно встроиться в сложившийся порядок вещей, казалось, что он проживает чужую жизнь, расходуя сведавший его проповеднический жар на мелочи. Но тлевшая в глубине души жажда нового поля деятельности, ярко, пусть даже опасно поприща все-таки реализовалась, правда, в неожиданной для него самого форме.

Однажды в курилке один из сослуживцев по конторе, в которой Иммануил в ту пору зарабатывал трудовой стаж, с шиком вытащил из кармана не «Яву», не «Сто-

личные», а пачку «Пелл Мелл». Мужики вокруг зацокали языками, закатали головами, потянули руки: «Дай-ка попробовать». Молодой инженер, впервые ощутивший себя душой взрослой компании, слегка зарумянился и милостиво разрешил брать даже по две сигареты. Зависть к этому ничтожеству, разыгрывавшему не то доброго барина, не то закутившего купчика, к этому молокососу, вмиг ставшему центром всеобщего внимания, злым огоньком засветилась в зрачках Иммануила. Ему немедленно захотелось выглядеть так же солидно и привлекательно, поэтому после работы он приступил к коллеге с расспросами, словно с ножом к горлу. Иммануил был так настойчив, так лихо взял парня в оборот, что минут через сорок бедолага сдался. За травленно кося глазами, поминутно сбрасывая с рукава ладонь Иммануила, он рассказал все, что знал: адрес, имя сбытчика дефицита, возможные контакты. На лице юного пижона поочередно отражались страх и изумление, ведь он ощущал себя предателем, открывшимся малознакомому человеку, хотя еще час назад был убежден, что под пытками не признается, как попали к нему иностранные сигареты. Начинаящий конструктор ясно осознавал теперь свой дальнейший путь: тюрьма, этап, каторга, гибель на лесоповале. Для него навсегда осталось загадкой, как это случилось, что нескладный долговязый Иммануил, удалявшийся с холодным презрением победителя, за полчаса перечеркнул всю его карьеру, растоптал всю его жизнь.

А для Иммануила дальнейшее оказалось делом техники, стоило лишь найти того фарцовщика, на которого ему указали, и вступить с ним в разговор, хотя, конечно, «расколоть» вчерашнего студента и разговорить прожженного делягу — не одно и то же. Во время этого щекотавшего нервы словесного поединка будущий святой, пожалуй, первый раз почувствовал, что схлестнулся с достойным соперником. Тот, кстати, тоже оценил напористость и хватку Иммануила, рискнув включить его в число своих клиентов. Постепенно у новоявленного нелегального перекупщика стали появляться редкие дорогие вещи, которые на зарплату не купишь. На их приобретение шла прибыль с продажи товаров, взятых на реализацию у того же барыги. Так Иммануил превратился в «теневика».

Он все чаще брал на работе «отгулы» или приносил начальству подозрительные больничные листы, все чаще можно было заметить его слоняющимся с ярким полиэтиленовым пакетом под мышкой около центрального универмага. Оценивая поглядывая на сновавших мимо вероятных покупателей, он иногда подходил к кому-то вплотную и тихо, но отчетливо спрашивал: «Джинсы надо?» Конечно, далеко не каждый мог себе позволить приобретение редкостных брюк по спекулятивной цене, но Иммануил с присущим ему умением убеждать в пять минут склонял сомневающегося к покупке. И вот уже завелись у Иммануила лишние деньги, а модные вещи, приятные напитки, деликатесы, хорошие сигареты стали повседневной и необходимой будничностью. И вот уже у него роман с кассиршей из галантерейного отдела универмага, забавный флирт с девушкой из «Электротоваров» и интересная интрижка с продавщицей из «Мужской одежды».

Жизнь стала яркой и насыщенной, каждый день приносил радость. Иммануил пытался разобраться в веселой чехарде своих эмоций, но не мог подобрать внятное определение тому, что переживал. Пожалуй, наиболее точно передать его праздничные ощущения можно было бы, если сконструировать такую фантастическую ситуацию: мальчишка купил за десять копеек билет на детский киносеанс, а его провели на фильм, на который дети до 16 лет не допускаются, да еще в буфете бесплатно вручили мороженое... И вдобавок по счастливому билету в кино он, как в лотерею, выиграл велосипед «Орленок».

Вот какое безбрежное счастье испытывал Иммануил! Ему нравилось, придя в контору, где лежала его трудовая книжка, натянуть маску незаметного мелкого клер-

ка, но при этом осознавать, что никто из сотрудников не догадывается о двойственности его существования, не знает его настоящего лица. Когда же пожертвованный государству рабочий день, завершался, Иммануил погружался в атмосферу красочного представления: он ощущал себя то персонажем заграничной мелодрамы, то героем шпионского фильма и тогда перепроверялся — нет ли за ним слежки, уходил от ображаемого «хвоста», ловко скрывался от милиционеров. А при дележе с фарцовщиком дохода, полученного от очередной спекуляции, Иммануил играл пирата, сбывающего награбленное, и бешено ругался за каждую копейку, хотя уже был избавлен от необходимости вести строгий счет финансам.

На этом интереснейшем этапе жизни Иммануил открыл для себя, что деньги действуют на людей так же неотразимо, как и правильно подобранные слова. Более того: слова, завернутые в солидную купюру (так же как и капиталы, сопровождаемые нужными словами), обретают небывалую, полностью поработощающую человека силу. Эту аксиому Иммануил крепко запомнил и положил в основу своей грядущей святости, до которой, впрочем, было еще далеко. Пока же он почувствовал, что, наконец, нашел свое место под солнцем. Он «кайфовал»! Он уже подумывал о том, что для полной nirваны стоило бы уволиться из конторы и без остатка посвятить себя фарцовке...

Закончилось все очень некрасиво. Однажды в сомнительной компании Иммануил играл в карты и проиграл очень много. Пришлось влезать в долги, пришлось скрываться и от шулеров, и от заимодавцев, пришлось срочно и потому дешево продавать ценности, пришлось расстаться со всем, что было накоплено. В конце концов, обобранный Иммануил оказался в больнице с сотрясением мозга, сломанными ребрами, разбитым лицом и нервным срывом.

Когда Иммануил вернулся к работе в своей шарашке, коллеги с трудом узнали его, настолько он был тих, подавлен. На его лице застыла извиняющаяся улыбка разочарованного идиота, что вызывало жалость и искреннее сочувствие сослуживцев. А сам себе он был просто противен, поскольку никак не решался преодолеть робкую молчаливость, пришедшую на смену переполнявшему его прежде кипучему красноречию.

И долго все оставалось плохо, пока однажды зимой в городском парке Иммануил не столкнулся со своей бывшей одноклассницей. Несмотря на лютую стужу, она разгуливала без головного убора и в легком тренировочном костюме. Притопывая от холода, женщина рассказала Иммануилу о недавно возникшей в городе группе последователей Никифора Кошкина, столетнего старца, закалившего свой организм до каких-то сверхъестественных степеней и собиравшегося прожить еще век. На следующий день Иммануил явился на занятие учеников Никифора, проходившее в том же парке на льду замерзшего пруда.

То, что он увидел, потрясало: бородатые нестриженные пенсионеры прямо на снегу оголяли тшедушные тела, а затем бодро погружались в прорубь; рядом дородные тетки обливались студеной водой, от их розовой тугой плоти валил банный пар; молодые мужчины с обнаженными атлетическими торсами окунали в ледяную купель красных, извивающихся, словно черви на крючке рыболова, орущих младенцев. От одного лишь созерцания этих картин Иммануила, одетого в подбитую ватой куртку, начинало знобить. Все происходящее воспринималось запредельным кошмаром, но окружающие излучали не омраченное какими-либо сомнениями жизнелюбие. С изумлением глядя на них, Иммануил начал догадываться, что существует в мире нечто более значительное, чем дефицитные товары, которыми он прежде спекулировал, что есть на земле ценности, которые не смогут отобрать у него ни уголовники, ни власть. Ему настолько захотелось сей же час приобщиться к этим ценностям, что он стал неторопливо и вместе с тем решительно снимать свою одежду, пока не оказался в одних несвежих «семейных» трусах. Иммануил как будто подвергся солнечному

удару, хотя мгlistое зимнее солнце не посыпало людям ни единого импульса тепла. Он не вполне отдавал себе отчет в своих поступках, но интуитивно постигал, что имеет возможность прямо сейчас избавиться от угнетающей его несколько последних месяцев подавленности, что получит шанс вернуться на стезю наполненной радостью жизни, только если станет действовать нестандартно и дерзко. Оступаясь босыми ногами на колючем снегу, как бы починившись чьей-то чужой воле, Иммануил подошел к краю курящейся проруби, зачерпнул ведром воды, поднял посудину над головой и с мазохистской медлительностью перевернул днищем вверх. Обжигающий липкий холод пронзил Иммануила, тысячами бритв врезался в тело, проник в самую суть его естества. Описать это ощущение было сложно, лишь промелькнула мысль о том, что, наверное, так чувствует себя изнасилованный человек. Однако в этом грубом насилии содержалась возможность очищения. Ломающая кости, выкручивающая суставы вода окончательно смыла терзавшие его уныние и разочарованность.

На другой день Иммануил вновь оказался в больнице, на этот раз с воспалением легких. Выход из лечебницы стал возвращением к активной деятельности, к пламенным речам. Миру явился самый ревностный апостол учения Никифора Кошкина, готовый горы свернуть, дабы обратить в новую веру как можно больше людей.

Грандиозный план созрел еще на больничной койке. Иммануил загорелся идеей привести к открывшемуся ему под струями ледяной воды исповеданию всех соотечественников, все человечество и уже в деталях представлял себе, как устроится это дело. Зародится великое начинание из первичной общины, которую Иммануил организует, возглавит, превратит в орден самоотверженных негнибаемых рыцарей, готовых пожертвовать собой ради грядущего приобщения рода людского к откровению от Никифора Кошкина. Возращенные Иммануилом члены общины пойдут по миру, основывая свои ячейки Сообщества Причастных к Возрождающему Закаливанию. А вскоре частая сеть таких ячеек покроет планету, и вечная жизнь без болезней, без уныния откроется народам Земли!

Но начинать следовало с малого, и Иммануил приступил к реализации задуманного с упорством, достойным восхищения. Он прошелся по инстанциям, необыкновенно веско говорил с чиновниками разных уровней и в итоге убедил начальство назначить его директором клуба, подведомственного предприятию, на котором трудился. Энергии новоиспеченного руководителя учреждения культуры хватало и на самодеятельность, и на ремонт туалетов, и на покупку баянов... Однако главное, ради чего на самом-то деле функционировал отныне клуб, свершалось раз в неделю. Вечерами по средам здесь происходило камлание во имя Никифора Кошкина. Со всего города добирались сюда аскетичного вида мужчины с горящими глазами и маленькие неприметные женщины, самозабвенно отринувшие косметические средства и погоню за модными тенденциями.

В закрытом для посторонних клубе в такие дни не работал даже гардероб, поэтому в холодное время года на прилавке перед пустовавшими вешалками выростала гора чудовищных кроликовых ушанок и шуб из искусственного меха со свалявшимися блестящими космами. Все это скидывалось в кучу с таким пренебрежением к собственности вообще и к верхней одежде в частности, что в следующий момент можно было ожидать ритуального сожжения псевдопушнины. Проходя мимо этого потенциального кострища, директор клуба неизменно потирал руки и улыбался, видя в нем прообраз мирового пожара, который вот-вот разгорится.

Сбросив стесняющие пути шуб, пальто и курток, действительные члены секции моржевания имени Никифора Кошкина обнимались с такими радостными возгласами, словно еженедельно заново обретали братьев и сестер во закаливании. Непосвященным эта восторженность могла бы показаться гипертрофированной, однако посе-

тители полулегальных собраний приветствовали друг друга не только как союзников, но и как сотоварищей по яростному истязанию плоти, ставившему их впрямь на грань выживания. Крепче родственных уз спланивала друзей привычка к телесным мучениям во имя... Впрочем, не так уж важно, во имя чего. Часто человеку хватает ощущения причастности к движению единомышленников, цель же движения оказывается второстепенной или вовсе отсутствует в снятом виде.

По вечерам в среду неистовые моржи собирались в кабинете директора клуба, чтобы обменяться информацией о произошедшем за неделю, рассуждали о том, насколько окрепло подвергаемое закалке тело, насколько укрепился от этого дух, док ладывали, сколько километров пройдено босиком по снегу. Обсуждали доходившие до них временами новости о Никифоре Кошкине, путешествовавшем пешком по России. А когда собеседники вдруг разом стихали, захлебнувшись волнами душевной теплоты и взаимного интереса, кто-нибудь многозначительно бросал взгляд на стоявший здесь же старенький кинопроектор. Собрата понимали без слов. Иммануил в который уже раз доставал свернутый в рулон портативный экран, гасил свет в кабинете, и начинался очередной коллективный просмотр любительского фильма с изложением катехизиса закалывания.

На ветхой пленке Кошкин был запечатлен бредущим по какой-то слякотной распутице в кедах, спортивных трусах и солдатской майке. Изображение было нечетким, переснятым с экрана на таком же тайном собрании неведомо в каком городе, невесть в каком году. Фокус киноаппарата постоянно «плавал», отчего Никифор предстал призрачным существом с неразличимыми чертами лица. Уверенно воспринималась лишь пушистая и длинная седая борода, словно это был некий Дед-Мороз для взрослых. Глядя на движущуюся картинку с расплывчатыми красками, каждый член секции невольно задавался вопросом: узнает ли он своего кумира по этому изображению, доведись невзначай встретиться со старцем? Да и возможна ли такая встреча? Может быть, Кошкина в действительности не существует, а есть лишь мутные пятна на размытой пленке? И каждый себе на это отвечал: если бы Кошкина не было, его следовало бы придумать!

Когда затертая кинолента обрывалась, проектор «Украина» какое-то время жужжал в абсолютной тишине на фоне ровного яркого белого квадрата пустого экрана. Потом включали освещение, но зрители старались не смотреть друг на друга, стесняясь счастливых глаз, выражавших удовольствие сопричастности к великому. Мужчины сосредоточенно молчали, покачивая головами, дамы, не обращая ни к кому, роняли: «Какая все-таки в нем мощь, энергия...» И тогда с новым приливом сил продолжали говорить о том, о чем уже было не раз говорено.

Центром всех ассамблей был, конечно, Иммануил. Он не только предоставлял помещение для встреч, он также составлял расписание занятий, писал объявления, созванивался с кем-то, кому-то давал советы и почти безостановочно говорил, говорил, говорил... Авторитетные ученики Никифора отнеслись к неопиту с ласковым уважением, на собраниях постоянно подчеркивали, как важна для всех фигура директора клуба, деятельного последователя кошкинского учения, давшего кров непризнанным и гонимым апостолам оздоровления. Иммануилу сулили познакомить его если не с самим Никифором, то с человеком из ближайшего окружения старца. Сообщалось это таким тоном, будто обещанное знакомство принесло бы ослепительное счастье на всю долгую жизнь плюс индальгенцию лет на триста в загробном мире.

Единственное, что омрачало жизнь обласканного вниманием сотоварищей директора клуба,— организм отказывался поддаваться закалке. Импульсивность натуры не позволяла Иммануилу постепенно втягиваться в моржевание, и он всегда перебарщивал, как во время своего первого ледяного омовения, он не желал понемногу при-

выкать к обтираниям и обливаниям, а стремился сразу спать на снегу. По таковой причине Иммануил был перманентно простужен, что, разумеется, никак не шло одному из апологетов здорового образа жизни. Так исподволь росло напряжение в отношениях с последователями Никифора Кошкина: те начинали с подозрением коситься на вечно чихавшего и кашлявшего Иммануила, он же, в свою очередь, раздражался оттого, что вредные моржи никак не хотели открыть ему секрет моментального избавления от болезней.

А тут одной головной болью стало больше у руководителя ведомственного очага культуры. Однажды к нему пришла странная делегация: работники райкома комсомола вместе с какими-то подозрительными личностями. Предложение последовало, мягко говоря, неожиданное. Директора клуба просили разрешить провести в малом конференц-зале закрытый диспут по религиозным вопросам. Иммануилу эта затея сразу не понравилась. Действительно, полулегальных сборищ учеников Кошкина более чем достаточно; к чему еще и верующие во вверенном ему клубе? Это уже могло быть воспринято общественностью как тенденция, и тенденция очень нехорошая. Он посоветовал посетителям зайти на недельке, а сам после их ухода набрал несложный номер и сообщил обо всем в компетентные, как принято говорить, органы.

Неожиданно для себя Иммануил получил почти разрешительный ответ. Органы бархатным баритоном высказались в том смысле, что он, конечно, прав, что со своими раздумьями обратился в соответствующие органы, но органы ничего никому не запрещают, и он как руководитель учреждения вправе сам решать, что проводить, а чего не проводить. Вот, например, он (ни с кем, кстати, не согласовывая) регулярно организует в собственном кабинете, мягко говоря, странные... как бы это сказать... посиделки, что ли, некоторых одиозных товарищей. И ведь никаких препятствий ему не чинили, не правда ли? Так вот, возвращаясь к нашим баранам, если он как руководитель учреждения примет самостоятельное (самостоятельное!) решение разрешить неформальным религиозным деятелям собраться (без всяких афиш, разумеется, и в очень узком составе), то желательно сообщить в органы о времени проведения данного мероприятия. Тогда органы назовут двух-трех специалистов, которых стоило бы пригласить на подобную дискуссию, помимо имеющегося списка.

Первое, о чем подумал Иммануил, положив трубку после этого непростого телефонного разговора,— кто из сторонников закалывания по системе Никифора Кошкина является специалистом из компетентных органов, внедренным в несанкционированную организацию, помимо имевшегося списка? Перебрав в памяти всех соратников, к однозначному ответу незадачливый морж не пришел. Второе, в чем попытался разобраться Иммануил,— почему КГБ попросту не запретил намечавшийся клерикальный шабаш? Видимо, чекисты хотят, чтобы такое сомнительное мероприятие все-таки состоялось. Зачем? Собирают материал на районных комсомольцев? А может статься, материал собирают на него, на директора клуба? Нет-нет, ни в коем случае нельзя разрешать никаких двусмысленных сборищ! Потом Иммануил думал так: «А может, контрразведка проводит хитрую комбинацию с целью выявить... кого-нибудь там выявить, и я своим отказом сорву оперативную разработку?» И, наконец, махнул рукой: «Пропадите вы все пропадом! Я доложил куда надо, а вы делайте, что хотите!..» Иммануил позвонил в райком комсомола, затем вновь в Комитет, согласовал дату проведения диспута и с тревогой ждал приближения назначенного срока.

И вот настал тот день, который оказался поворотным в судьбе будущего святого. К условленному часу конференц-зал заполнили неформальные религиозные деятели. Иммануил даже не предполагал, что их в городе такое количество и что они на первый взгляд ничем не отличаются от обычных граждан. Как один из самых заинтересованных наблюдателей он пытался разобраться: кто из собравшихся верующий, кто

комсомолов, а кто специалист из компетентных органов. Но тшкетно директор клуба искал наружных атрибутов неформальной религиозности — инструктор райкома ВЛКСМ внешне ничем не отличался от баптиста (кстати, это показалось Иммануилу принципиально неверным!). Пожалуй, лишь кришнаиты выделялись из толпы собравшихся некоторыми внешними атрибутами своего культа.

Деловито оглядев заполненную на две трети аудиторию, ведущий дискуссии сказал вступительное слово, и началось...

Активнее всех оказались как раз кришнаиты. Они демонстрировали свои барабанчики, какие-то яркие отрезки материи и показывали картинки с божками, имена которых запомнить было невозможно. Иммануилу особенно понравились два из них. Один с золотистой кожей, а вокруг все цветы, цветы, и на шее у него цветы. На лбу — пятнышко. Другой, тоже с точкой на лбу, был совсем голубенький, словно бы отмороженный. Иммануилу жалко стало заиндевшее божество: директор клуба и сам так синел, неумеренно закаливая свой организм у проруби. Адепты сознания Кришны горячо заверяли собравшихся в том, что их убеждения не противоречат советской политической системе, а следовать этим взглядам приятно и полезно, поскольку кришнаизм не столько религия, сколько философская и этическая система.

Отвечать диковинным сектантам вызвалась начинающая сотрудница райкома. Видно было, что она старательно подготовила свое выступление, но когда начала говорить, то смешалась и с минуту молчала, затравленно оглядывая зал. Ей на выручку ринулся старший товарищ, назидательно и веско заявив, что бога нет, а религия, пусть даже она маскируется под систему моральных норм, отвлекает от социалистического строительства, «перестройки» и «демократизации», поэтому нечего сбивать молодежь с пути поступательного развития советского общества, затуманивая головы юных строителей коммунизма мистическим дурманом. Закончив краткое, но емкое выступление, комсомольский руководитель сердито посмотрел на сбившуюся подчиненную: вот, мол, приходится за тебя отдуваться, чтобы встреча проходила строго по утвержденному сценарию.

Кришнаиты отвечали в том смысле, что социализм и все такое — это важно, но надо же и о душе подумать. А их верование вполне подходит для строителей коммунизма, так как требует не жесткого соблюдения обрядов, а только самосовершенствования, что и для комсомольцев полезно. Например, перед субботником или демонстрацией можно медитировать всей «первичкой». Или рабочий, пришедший после смены. Он мог бы дома или в общежитии входить в особое состояние духа, что отвлекало бы от пьянства и драк на танцевальных вечерах, приводя в итоге к росту производительности труда целых коллективов.

Потом слово взяла не вполне сознательная девица из несоюзной молодежи и произнесла ключевую фразу: «Я, конечно, в бога не верю, но что-то такое есть...» Кришнаиты в ответ кивали: есть, есть, конечно. Да и вся публика оживилась, видимо, близко к сердцу приняла соображение о том, что «что-то такое есть». В зале зашумели, стали высказываться, не дожидаясь очереди, вразнобой. Певчий из местного кафедрального собора спорил с кришнаитами: «Вы же русские люди. Зачем вам Кришна? Ведь та любовь и всепрощение, о которых вы говорите, — это же Христос! Идите в православный храм».

Иммануил подумал: «Ну да! Сейчас они пойдут в церковь! Здесь все почти не старше тридцати, а в церкви одни только бабки собираются». Он смотрел на кришнаитов, смотрел на певчего, и сравнение было не в пользу последнего. Те были молодые, красивые, в джинсах (возможно, ранее уже проходивших через руки некогда бедового фарцовщика, ныне культуртрегера-миссионера), в ярких свитерах, с цветными бисерными повязками на головах и запястьях, а этот — худощавый мужчина

средних лет в сером бесформенном пиджаке... Сразу было видно, что и личная жизнь у него неудачная, и вера его мудреная.

Не только Иммануилу, всем собравшимся стало немного стыдно за певчего. Как он, в самом деле, не понимает, насколько интереснее быть кришнаитом, у которого есть и синенький, и золотистый божки!

Долго потом еще спорили в конференц-зале клуба. Говорили то по очереди, то все разом. Слушали, прежде всего, себя, однако улавливали кое-что из речи оппонента. Видели в собеседнике одновременно и заблудшую овцу, которую, болезную, надо спасти, наставив на путь истинный, и непримиримого противника, коего следует без жалости повергнуть в прах... Расходились, как после любого беспредметного спора, с головной болью.

Директор клуба так никогда и не узнал, для чего КГБ разрешил проведение той контролируемой религиозной провокации; впрочем, данный вопрос перестал волновать Иммануила, после того как он убедился, что никаких неприятных последствий состоявшееся действие не повлечет. Гораздо интереснее оказались мысли, пришедшие в голову по завершении диспута, на котором парадом прошли представители разных конфессий, показав виртуозное владение казуистикой спора и навык заодно, без раздумий отвечать на все каверзные вопросы, на все нападки. Иммануил, искушенный в риторике, как мы помним, с отроческих лет, по достоинству оценил проповедническое мастерство завоевывать симпатии слушателей и превращать противников в сторонников. Решительность и изворотливость клерикалов весьма импонировали, манили постичь тонкости ораторского искусства, однако главным было другое. Во время протекавшей на его глазах идеологической битвы Иммануила осенило: оказывается, каждому из нас важнее хлеба насущного найти во враждебном мире родственную душу и уверить окружающих в том, что родственные нам души прекрасны!

Открытие это по степени влияния на человечество достойно было бы Нобелевской премии, но Иммануил не миг осознал его значимость. Он перепроверил себя, вспомнил все, что происходило с ним в жизни, что было ему известно из рассказов окружающих, и убедился: верно! Только это и нужно людям. А между тем, именно этого они лишены.

Восхищенный своим озарением, Иммануил захотел безотлагательно сделаться кришнаитом, но по зрелом размышлении отказался от этой идеи: у тех уже есть собственные гуру, главные по Кришне, а он-то сам рассчитывал стать главным. Или даже (чем черт не шутит!) новым Кришной. Нужно было найти что-то свое!

В сознании Иммануила стали возникать очертания неслыханного предприятия, которое могло исключительно возвысить его. Страсть к самозабвенной болтовне, неудовлетворенные лидерские амбиции, туманный мистицизм, привычки выжиги-спекулянта смешались в пропорциях, необходимых для возникновения критической массы, и взметнули в голове грибок ядерного взрыва. Иммануил решил вернуться к фарцовке, но фарцевать отныне намеревался... Богом. Он станет монополистом, единственным сбытчиком благодати. Он превратится в Никифора Кошкина — непогрешимого учителя, но без всякой моржовой дребедени. Он будет оптом продавать людям самый надежный, недевальвируемый товар — образ жизни. В комплект поставки входят также нерушимые устои братства единоверцев, увлекательные обряды, а по требованию и чудеса. Цена на первый взгляд может показаться покупателю завышенной, но зато какое качество! Фирма! Самый писк моды! Кроме того, приобретаемый этот товар, вы навсегда обеспечиваете себе отсутствие сомнений, безмятежное и бездумное следование непреложным указаниям наставника. А в каком другом месте вы сейчас достанете душевное спокойствие? Только у Иммануила! Плюс ко всему продавец каждому гарантирует оригинальную упаковку и длительную независимость от всех других продавцов смысла бытия.

Замысел был, безусловно, авантюрный, поскольку до сих пор лишь правящий режим имел право торговать образом жизни, а покушения на казенную монополию всегда чреватые дурными последствиями. Иммануил ощущал себя отчасти фальшивомонетчиком и опасался, что за подделку идеологических ассигнаций может подвергнуться суровому наказанию. Но с развитием «перестройки» прежде всем очевидные жестокость и неизбежность кары со стороны обманутого государства стали казаться все более иллюзорными. Приступы гнева коллективного советского социалистического самодержца со временем явно смягчались, так что при умной постановке дела риски от спекуляции мировоззренческими ценностями можно было свести к минимуму, а барыш предполагался бешеный.

Игра стоила свеч, но надо было еще многое обдумать, подготовить, прочесть, обеспечить минимальную материальную базу грядущего духовного прорыва. Поэтому Иммануил, внутренне уже переродившись в главу религиозной общины, оболочку своего существования на долгое время оставил неизменной: заурядный директор клуба, по-прежнему занимающийся туалетами и баянами.

Начиная восхождение к святости, Иммануил, прежде всего, пересмотрел отношение к системе Никифора Кошкина, поскольку она только до тела человеческого касалась, а душу рассматривала лишь как волевой резерв закаливания. Да и надоело все время ходить простуженным! Потихоньку начал отваживать своих вчерашних собратьев по ледяному крещению: еженедельные встречи стали ежемесячными, потом собирались от случая к случаю, вне графика, а потом Иммануил объявил о начале затяжного ремонта в своем кабинете, и собрания вовсе прекратились. Однако долго еще вечерами по средам приходили к зданию клуба изможденные люди с горящими глазами. Они как бы ненароком прогуливались у входа и, когда дверь распахивалась перед тем, кто имел право доступа, с тоской бросали ревнивые взоры внутрь недоступного теперь для них помещения. Наверное, Адам и Ева вот так же топтались у потерянного парадиза и, прильнув к щели в заборе, пытались хотя бы издали увидеть елисейские поля. А если раздавался скрип заповедных врат, то прародители подбегали к раскрывающимся створкам и грустно наблюдали за тем, как здоровенный битюг выволакивал из рая телегу, переполненную запретными плодами. Небритый ангел в телогрейке шел рядом с повозкой, шелкал вожжами, рассуждал сам с собою: «Вот ить сколько яблоков нападало... Куды их теперь? Битые все, червивые. На вино только, на вино... Но, пошел!»

Активисты секции моржевания, самые закаленные из закаленных, несколько раз встречались с Иммануилом, но говорили мало, уповая больше на то, что, увидав их, прежний собрат устыдится. Выразительно смотрели в глаза, немо вопрошая: «Как же ты мог стать предателем? За что ты нас так? Одумайся!» Иммануил игнорировал их многозначительные взгляды, ссылаясь на объективные причины невозможности продолжения собраний. Несколько раз намекал, что не сошелся же свет клином на Никифоре, что есть и другие достойные, даже с оттенком святости, люди... Вот если бы ради такого человека собираться, то можно было бы что-то придумать с помещением. Но тупоголовые кошкинские активисты не понимали намеков. А может, понимали, но не могли представить себе святого иначе как старцем с белой бородой, бредущим босиком по тающим снегам.

«Ну и черт с вами! — решил про себя Иммануил. — Свежий воздух любите? Вот и гуляйте по свежему воздуху!.. Хоть бы баба какая дала, а то так только... Время трачу...» Это была правда: за весь период увлечения закаливанием ни одна из женщин не стала добычей Иммануила. Поэтому он расстался с последователями Кошкина без терзаний и сомнений. Он решительно изгнал никифориан из своего храма баянистов и тцецов-декламаторов. Больше того, Иммануил даже затаил в душе ощущение

ние обиды, как будто подвергнутые остракизму соратники что-то ему обещали, но не сдержали слова.

Иммануил методично нагнетал внутри себя ощущение собственной святости, и скоро окончательно утвердился в этом чувстве. Теперь можно было восходить на следующую ступень возвышения, убеждая окружающих в своей избранности и исключительности. Хотя бы одного для начала. Хотя бы одну. Капитальный вопрос встал перед Иммануилом: «С кого начать?» Тут и вспомнилась ему райкомовская работница, та самая, что на сходке религиозных деятелей начала было говорить про несовместимость развитого социализма с религией, да осеклась. Иммануил познакомился с ней поближе, на двух первых свиданиях молотил языком так, что даже уставал, а на третий вечер затащил в постель «разведенку», которая на сидячей бумажной работе давно истосковалась по ласке. Через неделю, прошедшую в угаре сумасшедшей любви, мужчина под большим секретом открыл своей любовнице, что он не просто так себе человек, вообще-то имя его Иммануил, он святой, пророк и мессия. Разогретая страстью комсомолка сразу и безоговорочно в это поверила, и следующая неделя любовных утех стала еще более медовой. Иммануил нарек свою избранницу матерью Апоссионарией и вскоре убедил ее, что снизошедшая на них избранность не должна оставаться тайной для человечества, надо открыться людям. У матери Апоссионарии нашлись две незамужние подруги, которых и обрекли стать первыми посвященными...

Дальнейшие события доподлинно восстановить невозможно, но по клубу, где директорствовал Иммануил, поползли нехорошие, скабрзные слухи; ночные сторожа возвращались с дежурства во взвинченном состоянии, прятали глаза от домашних и мрачно отмалчивались. А однажды ранним майским утром клуб неожиданно посетила некая начальственная дама. Накануне она отмечала здесь свое пятидесятилетие и забыла забрать подарок коллектива — чайный сервиз на двенадцать персон. Решив до работы исправить оплошность, она вызвала персональную машину пораньше. К удивлению юбилярши двери клуба оказались распахнутыми, а пожилой вахтер сидел на ступеньках крыльца и курил, затравленно озираясь. Он глянул на начальницу красными глазами и, не поднимаясь, как-то лениво махнул рукой, мол, проходи, раз заявилась. От нехорошего предчувствия у посетительницы чаще забило сердце, а когда она вошла в фойе, сердце просто затрепетало. На стойке гардероба лежала женщина в шитом блестящими трико из костюмерной детского народного цирка. Женщина была мертвецки пьяна, а трико, врезавшееся в недетские тела, лопнуло под мышкой. Рядом с ней, всклокоченный, растерзанный, рычащий, стоял директор клуба и пытался вытащить палец из горлышка шампанской бутылки. Директор возбужденно говорил, говорил безостановочно, но решительно невозможно было разобрать ни единого слова его страстной речи. На втором этаже послышался грохот, издать который мог крупный музыкальный инструмент. Поднявшись наверх по засыпанной конфетти и новогодним серпантинном лестнице, начальница увидела вовсе чудовищную картину: в комнате оркестра народных инструментов спали две голые гражданки. Одна из них зарылась в ворох фольклорных костюмов, а другая бесстыдно развалилась на рояле, по крышке которого и ударяла в забытии пяткой, наполняя струнным гулом сконфуженно притихшее здание, пронизанное невинным светом низкого пока солнца. В помещении стоял смрад отрыжки и алкоголя. Портрет Глинки валялся на полу, прожженный окурком.

Скандал был грандиозный! Иммануила и его подруг уволили с работы, причем мать Апоссионарию еще и исключили из комсомола. После этого разбитная четверка принялась за уличный промысел. По одному или парами подходили они к людям на остановках общественного транспорта и, выбрав жертву, вопрошали тихо, но значи-

тельно: «Спаситесь хотите?» Если человек откликнулся на эту фразу хотя бы словом, то на него набрасывались все четверо, окружая несчастного, наперебой объясняли, что скоро конец света, и только посвященные могут спастись, а тут на остановке стоит такой симпатичный, милый человек, что жалко будет, если он не спасется, вот они и решили его посвятить, а значит — спасти. Чаще всего можно было гарантировать свою сохранность при конце света, дав избавителям немного денег, но некоторые особо впечатлительные горожане крепко застревали в лапах Иммануила и через какое-то время уже сами приставали к прохожим с жутковатым вопросом: «Спаситесь хочешь?»

Понемногу община росла, структурировалась. Новообращенные братья и сестры сшибали у доверчивых людишек мелочь, поставляли свежих рекрутов; мать Апоксионария контролировала низовое звено и распределяла полученные средства; а сам Иммануил был занят сохранением авторитета святости и проведением выдуманных им самим ритуалов. Деньжонки у него появились, но глава секты был не особенно доволен: трудно и мутно доставались рублишки, почти как инженеру в шараге. Да и понимал Иммануил, что все это ненадолго, что за ним приглядывают прежние наставники из КГБ и скоро «возьмут». Спасло то, что организаторы очень кстати подоспевших «демократизации, гласности и нового мышления» сделали ставку на все неформальное как на главный свой резерв в борьбе с «противниками перестройки». Иммануил (а уж он-то стал неформален — дальше некуда!) почуял, что, скорее всего, ареста удастся избежать, и продолжил сколачивать «белое братство».

Однако набиравшая обороты «перестройка» несла в себе и опасные для самозванного пророка тенденции: у Иммануила объявилась масса конкурентов. По стране бродило великое множество желающих снять урожай на целинных просторах духовности, поймать добычу в девственных дебрях душ неискушенных советских граждан. С грустью взирал Иммануил на то, как жадные толпы экстрасенсов, заокеанских проповедников, предводителей экзотических сект вытаптывали его посеvy. Оказалось, не он один додумался обогатиться, торгуя образом жизни. В руках пришлых захватчиков было такое мощное оружие как телевидение, и они отгрызали жирные куски потенциальной паствы. Хотя и на Иммануила спрос сохранялся, ведь он работал с каждым конкретным человеком, что при его умении говорить становилось решающим фактором коммерческого успеха. К тому же Иммануил скоро научился использовать приемы соперников: таинственный антураж, ускорение и замедление речи, многозначительные паузы, многократное повторение одних и тех же туманных фраз. Успехи окрыляли, помогали держать себя в тонусе.

Вскоре выпал шанс убедиться, что на самом деле никакой конкуренции среди торговцев спасением нет, что они все вместе делают общее дело, помогая друг другу приумножать доходы. Иммануил мог бы даже назвать точную дату, когда твердо осознал: существует негласное сообщество охотников за людскими душами. Это был тот день, когда он оказался в кинотеатре «Слава», арендованном очередным религиозным коммивояжером для массового охмурения русских обывателей.

На афише, исполненной в какой-то упаднической манере, указывалось, что вместо дневного сеанса в кинотеатре состоится выступление отца Пола Кауфмана из США. В назначенный час заезжий пастор с бритым надменным лицом и тщательно уложенными седыми локонами вышел на сцену и медленно обвел зал глазами. Лицо проповедника показалось Иммануилу давно знакомым: не то Кауфман был поразительно похож на голливудского актера, чью фамилию никак не вспомнить; не то вызывал ассоциации с пропагандистским искусством, ведь именно такими изображали советские карикатуристы воротил с Уолл-Стрига, пентагоновских ястребов, империалистов-милитаристов, отстаивавших принципы неокOLONIALИЗМА.

А Пол Кауфман, похоже, и впрямь ощущал себя находящимся словно бы среди туземного населения, которое предстоит привести к истинной вере огнем и мечом. Он с брезгливостью и затаенным беспокойством работорговца осматривал сидящих перед ним людей, прикидывая, сколько дюжин таких существ можно купить на доллар.

Конечно, спасительного слова наставления от проповедника так никто и не услышал. Кауфман не собирался мараться о низкосортную публику: он был лицом своей общины, товарным знаком, ярлычком «Сделано в США». Поэтому, процедив несколько слов, услужливо переведенных нанятым толмачом, Кауфман представил собравшимся своего собрата из России, прошедшего стажировку в Штатах, и удалился подобно роботу переставляя негнущиеся ноги, почти не шевеля руками, чтобы не помять добротный материал безукоризненно сидевшей пиджачной пары. Каким ледяным высокомерием, каким олимпийским презрением к смертным веяло от пастора! Иммануил просто восхитился. Обязательно надо было перенять эту манеру с блестящей наглостью выказывать окружающим пренебрежение!

Но не только у Кауфмана было чему поучиться. Русский воспитанник Пола, овладев микрофоном после ухода босса, с удовольствием и смаком отработывал на наших манекенах усвоенные им американские приемчики. Скороговоркой уверив аудиторию, что постоянно испытывает счастье общения с высшими силами, парнишка начал медленно и тихо втолковывать, что каждый человек рано или поздно неизбежно обратится к сверхъестественному, но надо не ошибиться и идти к вере правильной дорогой, дорогой, открытой только последователям секты, которую возглавляет Пол Кауфман. Динамики разносили по залу шепот и даже придыхания говорившего, а когда тот почувствовал, что люди почти усыплены его речью, то заорал вдруг: «Аллилуйя!» Полилась музыка, странная, завораживающая музыка, и вместе с ней нечто тошнотворно-приятное вливалось в зал. Иммануил почувствовал, как в голове что-то стронулось, медленно закружилось, а на губах образовалась блаженная улыбка. Он удовлетворенно подумал: «Хорошо подготовились, черти!» И перестал контролировать себя. Было слышно бормотание проповедника, но не слова имели сейчас значение, а то необъяснимое, что витало между рядами скрипучих жестких кресел, в которых расслаблялись, обмякали собравшиеся.

Вот оно, то, о чем всегда мечтал Иммануил! Оно существует, оно здесь! Вот ради чего гуру-фарцовщик готов был на все: он мог бы проломить кому-нибудь череп, он дал бы отрезать себе палец, лишь бы не прерывались чудесные звуки. Музыка волнообразно наполняла зал, уплотнялась толчками, как кровь в жилах. Музыка навсегда поместилась в мозгу и пульсировала там, словно заевшая пластинка. Иммануил будто бы оказался под стеклянным колпаком, внутри которого было до истомы уютно. При этом Иммануил отчетливо видел то, что творится снаружи, однако происходящее никак не затрагивало его чувств. Сидевшие в зале беззвучно шевелили губами, помимо воли совершая вращательные движения головой, многие поднялись с мест. Встал и Иммануил, двинулся по проходу ближе к сцене. Когда поравнялся с первым рядом, заметил женщину, беззвучно бившуюся в конвульсиях. Чуть поодаль другая вдруг подалась вперед с откинувшегося сиденья, почти кувыркнулась, повалилась на пол, закрутилась волчком. Но, не смотря на экзатичность, двигалась она плавно, замедленно; из-под закрытых век выкатывались слезинки; рот был распахнут. Столи, крик ли вырывались у женщины? Или молчала она? Кликуша подкатилась под ноги Иммануилу, и тот захохотал в такт музыке. Вот жертва, у ног его! И как легко взять добычу, как сладостно заставить других валяться в пыли, как ничтожны все, кроме Иммануила! Он воздел руки вверх, ему казалось, что он увеличивается в размерах, что он достает до потолка кинозала, что он заполняет собой все пространство и вытесняет других.

Окружающие вдруг обратились в ничтожных насекомых, копошащихся на своих шестках, покорно отбросивших волю, отключивших сознание насекомых. Рассеявшиеся рядами человекоподобных богомолы сучили лапками, часто кивали головами, повинувшись ритму речи стоявшего на эстраде мужчины. Иммануил полез на сцену, чтобы отнять микрофон у проповедника. Иммануил хотел выхватить из чужих рук эту волшебную палочку на гибком шнуре, громоподобно крикнуть в кишащий инсектоидами зал: «Встаньте и идите за мной!»

Какие-то крепыши остановили его, вывели под руки, дали понюхать нашатыря. Несколько минут Иммануил приходил в себя, полулежа на «банкетке» в фойе кино театра. Он сам себе казался оплавленным шлаком, постепенно остывавшим по выходе из горнила. Явственно ощущалось, что за стеной, в зале, откуда его только что изгнали, гулко топоча массивными пружинистыми лапами, мечется небывалое существо, слепленное из отдельных людей. У Иммануила мурашки бегали по телу, настолько хотелось влиться в бесноватое, мягко прыгающее по стенам нечто, настолько тянуло вернуться в покинутое логово обаятельного чудища. Однако он понимал, что присутствие там навсегда сделает его рабом Пола Кауфмана и перечеркнет собственные замыслы. Поэтому Иммануил, собравшись с силами, вышел из прохладной подлутмы кинотеатра на улицу, залитую ослепительным солнечным светом.

Бившее в глаза солнце расплавало городские кварталы в струящийся мираж, и среди радужных пятен перед взором Иммануила подрагивали образы женщин, распростершихся у его ног: одна лежит ничком, сотрясаясь в редких конвульсиях, другая, рядом, пала на колени и клонит, клонит голову все ниже и ниже. Покорные, лишённые индивидуальности куклы. «Вот что можем мы, служители высших сил!» — гордость распирала проповедника.

С того дня его община заработала интенсивнее. Иммануил активно искал информацию о психоделической музыке и препаратах, воздействующих на сознание. Все прочитанное смело применялось им на практике, так что подопытные послушницы вскоре были доведены до окончательного иступления. Кроме того, новоявленный святой разработал дополнительные ритуалы, сочинил множество молитв, усовершенствовал атрибутику своей секты. В этот период возник и ставший позже знаменитым белый балахон.

Идея была в том, чтобы обличем резко выделяться из толпы, привлекать внимание и поражать окружающих внешним видом. Первый вариант униформы мать Апоссионария скроила из простыни — кособокий колпак и неказистая хламида. Иммануил, облачившись, стал похож на ку-клус-клановца. Долго не решался выходить в таком наряде на люди, но постепенно пообвыкся, начал понемногу прогуливаться по улице, а потом втянулся. Добропорядочные обыватели, встретив на пути Иммануила в вызывающей обновке, шарахались в стороны — думали, псих сбежал из лечебницы. Милиционеры, брезгливо морщась, гоняли блаженного чуть не пинками. Но с углублением «перестройки» стражи порядка стали более терпимо относиться к наружности неформалов, а граждане привыкли к городским сумасшедшим, число коих стремительно росло. Помешательство становилось нормой; более того, чем сумасброднее выглядел кто-то, тем заинтересованнее к нему относились. Народ нащупывал границы дарованной свободы: и это можно? Ну, дела! А если вот так? А этак? Все можно?? Ну, вы даете!!!

Со временем покрой балахона, воспринимавшегося сектантами уже как мундир, менялся, становился удобнее, моднее. Вскоре и послушницы получили право на ношение подобного одеяния, только у них не колпак венчал костюм, а капюшончики с оборочками. Когда эта бригада в белых хитонах выходила на промысел, сторонний наблюдатель терялся в догадках. Может быть, в городе вспышка заразной болезни, и

санитарный кордон выискивает зачумленных? Или, может быть, из кареты «Скорой помощи» сбежал больной, и теперь медики, чтобы не получить нагоняй от начальства, подбирают на его место добровольца, обращааясь к прохожим с назойливым вопросом: «Спастишь хочешь?»

Впрочем, как ни высоко ценил Иммануил внешний эффект в своих затеях, главным, конечно, оставалось мастерство индивидуального общения с выбранной жертвой. Постепенно приходил опыт первичных контактов с людьми, нарабатывались схемы закрепления длительных отношений с будущими неофитами, определялись приемы тесного взаимодействия и подчинения себе новообращенного собрата. Иммануил научился по-американски улыбаться незнакомцу, демонстрировать сердечность и расположение первому встречному, изощренно угрожать приближенному, заставляя беспрекословно подчиняться посвященного.

Однако приобретенных навыков и опыта оказалось недостаточно! Для закрепления успеха требовалось чудо. Неопровержимое, доказанное, всем очевидное чудо. Но разве мыслимы чудеса в промышленном городе центральной части РСФСР? Дивные сказочные сады тут не произрастают. На залитой машинным маслом, заваленной отвалами горных пород, припорошенной цементом почве даже самая изощренная фантазия не могла бы отыскать и чахлого ростка, хотя бы отдаленно напоминающего волшебный цветок. Сектантки-послушницы усердно доносили своему святому местные сплетни, но какая же все это была дребедень! Какая тоскливая пошлость, какая заскорузлая обыденность и, вместе с тем, какое мелкотравчатое суеверие, какая убудочная мистика волновали советских обывателей, граждан атеистического государства!

Но однажды среди потока тягуче-тошнотворных слухов, как крупца золота среди мутного песка в лотке старателя, блеснула неожиданная новость о девственнице, носящей ребенка... В голове Иммануила словно что-то щелкнуло: это же непорочное зачатие! Да, оно! Все сходилось в этой точке, все разрозненные осколки его сумбурной жизни складывались в драгоценную мозаику. Деву, вынашивающую плод чрева своего, следовало непременно использовать для укрепления авторитета секты! Иммануилу позарез нужен был младенец, зачатый не в грехе. Основатель братства показал бы сие чадо общине, он рассказал бы (а мать ребенка подтвердит, Иммануил, без сомнения, сумеет убедить, запугать, подкупить, запутать ее), что зачато дитя силой духа новоявленного пророка. Отец Иммануил понесет младенца, как флаг, а за этим знаменем пойдет послушное стадо белых агнцев, пойдет туда, куда укажут. Он уведет своих последователей, как и мечтал, в какую-нибудь отдаленную местность, и оттуда по всему миру разнесется весть о новом Вифлееме. Так начнется вселенский триумф основанного Иммануилом вероучения!

Понуждаемые своим пастырем вездесущие белые балахоны с сугубым рвением мелькали среди городских кварталов, как стая встревоженных приведений. Наконец, имя и местожительство беременной девицы были установлены, и вот, несмотря на козни взревновавшей вдруг матери Апоксионарии, Иммануилу доставили записочку: «Володина Мария...» Далее отвратительным почерком были выведены название улицы и номер дома.

В тот же вечер, решительно настроенный и сосредоточившийся на предстоящем серьезнейшем разговоре, самозванный святой направился по указанному адресу, однако непредвиденное столкновение у самого порога общежития с пропахшим одеколоном психопатом расстроило все планы. В ходе этого досадного инцидента бывший фарцовщик испытал тот же шок, который, очевидно, переживали прохожие, когда к ним с вопросом о желании спастись приближалась фигура в белом одеянии.

Еще издали завидев на своем пути неестественно жестикулировавшего ватными

руками, замедленно двигающегося навстречу юношу, Иммануил уже был несколько смущен. Когда же он подвергся немотивированному нападению со стороны незнакомца, смущение переросло в оторопь. А чудовищный вой, изданный молодым человеком, буквально парализовал Иммануила. В этот момент возник странный контрапункт в психологическом состоянии новоявленного вероучителя: он на какое-то время перестал существовать в качестве самостоятельной человеческой единицы и растворился в зыбучей эпической стихии, как если бы его оглушил, смял и искорежил свист былинного Соловья-разбойника. И при этом сам Иммануил четко понимал, что оказался бесконечно далек от идеала мужественного и непоколебимого богатыря противостоящего чудовищу.

Каждого человека терзает извечный страх, с которым мы сжились до такой степени, что его парализующий холод почти не ощущается; это страх перед неведомым. Любой из нас, столкнувшись с чем-либо загадочным, испытывает смятение всех чувств на грани нервного срыва. Любого свидетеля таинственного явления может охватить всеоключающее сомнение в устоях бытия: если в реальной жизни происходит нечто необъяснимое для меня, возможно, я до сего момента жил неверно?! Любой человек, встретившись с непонятным, рискует пережить резкий приступ желания заведомо подчиниться авторитету, который сможет все странное разъяснить и (главное!) от всего угрожающего защитить. Любой человек, но не Иммануил! Он, давно уже привыкший навязывать свою волю другим, не должен был бы попасть в подобную ловушку... Однако неожиданно для себя и он во время незначительного, казалось бы, уличного происшествия угодил во власть обморочной слабости, и, осознав это, испытал высшую степень раздражения на фоне абсолютной подавленности.

Тягучая горечь заполняла все существо Иммануила, как кровь заполняет разбитый в драке рот. И когда неизвестный соперник, вышедший победителем из столь внезапной, столь скоротечной схватки, удалился, на глаза главы «белого братства» навернулись прозрачные до искренности слезки, ибо тяжело переживать участь не только психологически сломленного, но и физически поверженного неудачника. Ноющая тоска воспалилась и саднила где-то за грудиной, душу терзал детский ропот на вселенскую несправедливость, подобный тому, что возникает в трепещущем сердечке первоклашки, когда его отпинают «большие мальчишки с соседнего двора».

Обида, способная поставить человека на грань саморазрушения, безраздельно овладела Иммануилом, и он с трудом удерживал рыдания, разглядывая пришедшую в негодность одежду. Разумеется, явиться на первую встречу с Володиной Марией в покрытом пылью позора, потерявшем форму балахоне совершенно невозможно. Может быть, самый важный в его жизни визит приходилось откладывать.

Раздраженный неудачей, Иммануил торопливо удалялся от впадавшего в спячку накануне завтрашней утренней смены общежития. Темными дворами прошел он на желтевший фонарным светом проспект и стал «ловить машину», чтобы как можно быстрее добраться домой. Автомобилей в этот час было немного, и все они как назло проскакивали мимо.

VI

Андрюха Чернышев сегодня припозднился. После работы встречался с «нужными людьми», и, конечно, ему предлагали выпить (да что там предлагали! просто-напросто заставляли!), игнорируя отговорку: мол, «за рулем». Дабы не обидеть приятелей, пришлось проглотить полстакана коньяку; теперь же, по дороге домой, Андрюха переживал: как бы не остановил «гаишник». Дежурная ассигнация хотя и припасена была, чтобы откупиться от блюстителей порядка, но Андрюха «дергался» — бывает, некото-

рые отказываются от взятки на дороге, а бывает, что в ГАИ какая-нибудь операция проходит, или рейд там, или надо план выполнить... Ну, вы сами знаете.

Однако никакие обвинения не удержат страстного автомобилиста от возможности в очередной раз проверить резвость верного железного коня. Поскольку на скудно освещенных городских трассах машин почти не встречалось, Андрюха смело подхлестывал свой автомобиль стальной плеткой педали газа, рывками ходившей под ногой беспечного наездника. Славно было мчаться по просторным улицам, ощущая на щеках и на макушке ласку залетавшего в приоткрытые окна прохладного сквозняка независимости; казалось, что растекавшиеся по жилочкам «сто грамм» терпко хмельного армянского тепла не только не помеха, а действенная одухотворяющая помощь в шоферском искусстве.

Да вот беда: суровая реальность злокозненна и недолго нянчит нас в приятной неге; за мерным, убаюкивающим покачиванием мягких рессор отлаженного до автоматизма бытия непременно последует бесцеремонный и чувствительный толчок, когда колеса сходу влетают в коварно притаившуюся среди дорожного полотна колдобину. Так и сейчас — привыкшего кичиться своим умением все держать под контролем водителя «Жигулей» вывело из состояния вечерней бездельной умиротворенности тревожное, а то и грозное видение. Чернышев вдруг заметил на одном из переулков... призывно помахивающее рукой привидение!

Андрюха в первый момент подумал: «Все. Допился. Белуха накрывает». Однако — не бред; у бордюрного камня действительно стояло нечто, завернутое в саван. Чернышев сбросил скорость; удалось рассмотреть человеческую фигуру, драпированную в какую-то простыню... Проехав мимо, Андрюха еще некоторое время наблюдал за этим типом в зеркало заднего вида. Точно: мужик. В белом балахоне, в колпаке. Машет рукой, останавливает машины.

Станный, конечно, но, в общем-то, незначительный эпизод вывел ночного ездока из себя. Он резко «газанул», заматерился по-черному, в раздражении стал стучать кулаком по рулю, отчего отрывисто срабатывал клаксон. Андрюха всегда очень эмоционально реагировал на подобные случаи вопиющего нарушения заведенного для всех порядка. Впрочем, сам Чернышев любил и умел обходить некоторые уложения и принципы, но при этом было важно, чтобы другие как раз оставались бы в заранее определенных границах, давая тем самым проныре, смевшему выйти за общепринятые рамки, повод гордиться своей хитростью.

«Р-р-распоясались, блин, совсем! — рычал Андрюха в пустом салоне своей машины, не замечая, что педаль газа до отказа вжата в пол.— В простынях ходят по улицам. Оборзели! Небось еще и бабки им за это платят. Не терплю сволочей!»

Вызывающий внешний вид, конечно, ярче всего показывает, что человек наглым образом противопоставляет себя всем остальным, поэтому Чернышев просто кипел от негодования, когда встречал людей эпатирующей наружности: мужчин с серьгой и длинными волосами или, наоборот, девушек с чрезмерно короткой стрижкой. Увидев металлиста или панка, которых с началом «перестроечных» преобразований появлялось на улицах все больше и больше, Андрюха с трудом подавлял желание переехать неформала своими «Жигулями».

Чернышев с малых лет ориентировался на убеждения и поведенческие модели лучшей части большинства. «Все как у людей!» — эта расхожая формула являлась жизненным девизом его семьи. Неразговорчивый, малообщительный отец, тренер детской спортивной школы, смысл жизни видевший в очередной победе юных атлетов, хлопотунья мать, бухгалтер в тресте столовых, старший брат, физкультурник, активист и почти отличник,— все они стремились как можно лучше делать свое дело, убежденные, что только благодаря этому они, как и остальные сограждане, соблю-

давшие верность основополагающим принципам советского общества, непременно добьются если не процветания, то устойчивого и стабильного развития. Да так оно и происходило: «как всем» государство в соответствии с жилищным кодексом выделило семье Чернышевых квартиру; «как всем», строго по очереди, предоставлял профсоюз путевки в пионерские лагеря для детей и в дома отдыха для старших; «как всем» удавалось семье кое-что откладывать на крупные приобретения. Хотелось бы, конечно, чтобы зарплата была бы повыше, но тут уж ничего не поделаешь, ведь, опять-таки, у всех так.

Правда, Андрюша с рождения выделялся Чернышевыми из «всех». Он, младшенький, всегда был окружен трогательной заботой родственников. Мать, испытывавшая чувство вины оттого, что через две недели после появления младенца на свет перестала кормить грудью, потом всю жизнь пыталась компенсировать отсутствие материнского молока, добывая каким-то непостижимым образом высококалорийные дефицитные продукты, исключительным правом вкушать которые обладал один только последышек (усиленное детское питание пошло впрок, и Андрейка на радость родне рос щекастым крепеньким бутузом). Брату было поручено с пеленок пестовать Андрюшеньку: гулять с ним, собирать и провожать его в садик, а затем и в школу, оберегать от шпаны во дворе, от транспорта на улице, от бродячих собак, от падений и порезов — от любых опасностей, грозивших малышу. Отец готов был взять на себя закалку и физическое воспитание меньшого сына, но тут мать неожиданно и категорически выступила против. Она не позволила записать мальчугана в спортивную секцию, заявив мужу: «Хватит с тебя Ярослава! И так старшего не вижу: то соревнования, то сборы! Ребенок вечно весь в синяках, в царапинах. Хоть маленького мне оставь!» Так и повелось в семье, что Андрюшка был у них наособицу, и принцип «как у всех», хотя и не отменялся окончательно, но на него как бы не распространялся. Младший из Чернышевых олицетворял собой то самое исключение, которое подтверждало основное житейское правило.

И в детском саду, и в школе тоже учили: жить нужно по принципу «все как один», по-другому нельзя. Однако чуть подросший мальчик явственно видел, что на деле детско-юношеский коллективизм трактовался столь широко, что подчас оборачивался своей противоположностью. Вот, например, красивые заграничные игрушки были далеко не у всех, но все завидовали обладателям таких игрушек. Все без исключения мечтали почавкать жевательной резинкой или похвастаться яркой наклейкой с «не нашими» буквами, но мало кто мог себе такое позволить. Абсолютно всем хотелось щеголять в модных брюках, но не каждый был способен приобрести джинсы. Андрюша, с раннего детства имевший склонность мыслить системно, задавался вопросом: «Быть как все — значит мечтать как все, или воплощать в себе мечты всех, становясь тем самым не как все? И если все стремятся к лучшему, но не все живут хорошо, то тот, кто живет лучше других, не является ли лучшим из всех?» Эти сомнения, в чем-то, безусловно, противоречившие как социально приемлемой морали, так и базовым принципам семьи Чернышевых, под влиянием подросткового максимализма однозначно разрешились в пользу понимания отроком своего особого и исключительного положения в структуре советского общества.

Глубинные, но пока неявные идеологические разногласия в доме Чернышевых проявились в восемьдесят четвертом году, когда по стране поползли слухи об «узбекском деле». Поговаривали, что после ареста Адылова, руководителя одного из сельхозпредприятий Узбекской ССР, открылись колоссальные масштабы приписок, которые стали возможны не без ведома высшего руководства этой среднеазиатской республики. Возмущенная молва разносила вести о невообразимых богатствах и байском самоуправстве окружения Адылова, о том, что в распоряжении новоявленного

бека имелись чуть ли не тайная тюрьма для недовольных дехкан и едва ли не персональная армия для расправы с послушниками. Родители Чернышевы с сомнением покачивали головами: «Да возможно ли такое? По каким причинам капиталистические, даже феодальные пережитки столь длительное время сохраняются при социалистическом строе?» Брат (тогда ученик выпускного класса) негодовал: «И это в самой передовой стране, при нашей-то идеологии?! При самом прогрессивном способе производства?! Это же покушение на государственные устои! Это же неприкрытое предательство! Таких изменников надо безжалостно карать, вырывать с корнем такие сорняки! Дожили! Раньше были «Антоновские яблоки», символ искренности и лиризма, а теперь появились адыловские яблоки, воплощение торжества агрессивной обывательщины!»

Андрей ценил начитанность брата и пафос его речей, но про себя кумекал по-другому: «И чего это все так кипятятся?» Собственно, что плохого сделал Адылов? Ведь яблоки он выращивал, хлопок собирал. И не только же для личного обогащения — на благо всех! Его хозяйство было лучшим в Узбекистане, Адылов имел награды, поощрения. А то, что нарушал социалистическую законность... Положа руку на сердце, разве в разговорах друг с другом мы сами не бурчим иногда, что с нашим народом надо поостроже, что не хватает в стране порядка? У нас без твердой руки выдающихся результатов не добиться! Так же как без денег, друзей и покровителей, облеченных властью, невозможно войти в число тех, кто своей жизнью воплощает всеобщие представления о зажиточной благоустроенности. И только умелое и умное сочетание силы и изворотливости, только придирчивая требовательность к тем, кто от тебя зависит, в соединении с сервильным дружелюбием по отношению к тем, от кого зависишь ты, могли вывести в люди. Так что Адылова Андрюха считал не преступником, не врагом народа и государства, а представителем той лучшей части большинства, на которую с детства ориентировался в своих помыслах и поступках. Фигура Адылова постепенно приобрела в восприятии Чернышева-младшего черты чуть ли не горделивого графа Монте-Кристо, непоколебимо идущего к своей загадочной цели. Так что Ярослав понапрасну расточал красноречие...

Брат, кстати, по окончании школы выкинул и вовсе обескураживающий фортель: прибыв по повестке в военкомат, написал там же, на призывном пункте, заявление о направлении его добровольцем в Афганистан. В заявлении были такие строки: «Я, как любой советский человек, хочу быть там, где опаснее всего». Андрюху это расстроило и удивило: да разве любой желает подвергнуть себя смертельному риску? По представлениям младшего из Чернышевых, каждый разумный человек стремится как раз к обратному — во что бы то ни стало избежать попадания на войну. Что-то было противоестественное в желании брата вот так, без какого-то стороннего нажима, без всякой выгоды для себя, закатиться в средневековую пустынно-горную даль, очутиться в чуждом нам пространственно-временном измерении, где творилось нечто странное и страшное. Этот отчаянный порыв, это бесшабашное самопожертвование, эта готовность отдать жизнь во имя абстрактных принципов, а не ради счастья, допустим, своей семьи, высветили в Ярославе нечто неожиданно небратское. Андрей пытался во всем разобраться. Говорить с матерью было очень тяжело: она заливалась слезами при любом, даже случайном, упоминании о старшем сыне, и сквозь рыдания, сквозь закрывающие заплаканное лицо ладони слышалось, как стон: «Ну, как же... Надо же и им помогать...» Кому «им»? В чем помогать? Почему именно *нам* надо *им* помогать? Отец, у которого после отправки Ярослава в войска вдруг обозначились суровые неизгладимые складки вдоль щек, объяснял меньшенькому: «Ты пойми, если бы наши части не вошли в Афганистан 31 декабря семьдесят девятого, 1 января восьмидесятого в этой стране стояли бы американские базы». Андрюха все равно не

понимал: ну, и стояли бы, нам что? Ярику что до того, где располагаются американские военные базы? Какое это имеет отношение к нашей двухкомнатной «хрущевке» с кладовой, переделанной под спальню старшего брата? К нашему тихому двору, утопающему в сонной зелени палисадников? К нашему городу? Ко всем нам?

Эти недоуменные вопросы, так никем и не разъясненные, заставили Андриюшу, с малых лет умевшего рассчитывать ходы наперед, всерьез обеспокоиться собственным будущим. А врожденное умение с прищуром хваткого практика заглядывать в завтрашний день толкало на неустанное беспокойное действие, целью которого было по достижении призывного возраста избежать повторения судьбы Ярослава. Вполне понятно, что в своем стремлении Андрияха нашел верную и активную союзницу: мать, подавленная постоянным страхом потерять старшего сына, доходила чуть не до обмороков, думая о грядущей рекрутчине младшенького, своего любимца. Вдвоем упорно, настойчиво искали они врача, который согласился бы внести в Андриюшину медицинскую карточку диагноз, гарантировавший отметку «не годен» в военном билете. Тайком от отца, стараясь не думать о том, как будет к нему относиться брат, допризывник Чернышев слонялся по полутемным коридорам медицинских учреждений, полусшепотом заговаривал с полуофициальными лицами: «Вам насчет меня звонили...», кому-то передавал какие-то свертки, пакеты... И добился-таки того, что в его документах была проставлена необходимая запись. От сердца отлегло: «Вот теперь у меня все как у людей!»

Именно после того, как удалось благополучно разрешить первую в его практике нештучную проблему, Андрияха почувствовал себя вправе и в силах отказаться от фамильного девиза «Все как у всех!» Принцип, подвергнутый ревизии эмпирическим путем, был аккуратно, но решительно подкорректирован в соответствии с современными веяниями и трансформирован в лозунг: «Все как у людей!» В филологическом отношении разница ничтожна, но по сути — новое жизненное кредо. Безликие, сливавшиеся в блеклую массу «все» оказались заменены «людьми», вызывавшими уважение уже одной только особостью. Отныне не надо было мучиться, загоняя свою совесть в строго предписанные общественной моралью, но размытые обыденными суждениями границы всеобщности, теперь можно было лавировать в житейском море, ориентируясь, словно на маяки, на «людей». И хотя рисовались эти жизненные ориентиры довольно смутно, главный критерий обозначился явственно: «люди» — это не те, кто, как Чернышевская родня и знакомые, в поте лица добывал хлеб насущный; «люди» (Адылов, например) жили ярко, независимо, разгульно, могли позволить себе многое. Настоящие «люди» виделись то работниками торговли, то дипломатами, то высокопоставленными чиновниками. В идеале Андрияха предполагал будущую взрослую жизнь скроить по таким лекалам, став, допустим, ответственным служащим внешнеторгового ведомства. Да вот закавыка: ни средств, ни связей для реализации столь амбициозных проектов семья Чернышевых не имела...

Мечты о блестящем коммерческом поприще обернулись поступлением в провинциальный торговый техникум; из всех атрибутов дипломата доступным оказалось лишь приобретение чемоданчика с аналогичным названием; а вся красота роскошной жизни воплощалась в пиджаках, сшитых мамкиными подругами по выкройкам из старых журналов мод. Слабое утешение для честолюбивого юноши!

Его планы были гораздо масштабнее. Он грезил уже о собственной квартире, машине и даче — о той заветной триаде, о том подтверждавшем принадлежность к приличной публике обязательном минимуме материальных благ, о той стартовой площадке будущего головокружительного взлета, которые всех уравнивали в стремлениях, ибо в Стране Советов каждый знал: хочешь испытать завистливое уважение окружающих — стань обладателем квартиры, машины, дачи. Об этом мечтал каж-

дый, однако далеко не каждый догадывался, насколько на деле ненадежно столь меркантильное мерило успеха, в своей весомой основательности казавшееся универсальным. Многие, слишком многие, получив желаемое, так и не испытали удовлетворения от достигнутого, ибо впереди уже манили махами рукавов импортные дубленки, а отечественные пыжиковые шапки рукоплескали хлопками меховых наушников, ждали тебя, ибо знали: без них почувствовать себя «человеком» практически невозможно. А еще дальше громоздились тома дефицитных подписных изданий, груды банок с икрой, вороха пачек грузинского чая... И пока не взберешься на этот Монблан, никакой ты не «человек»! Взбираться же было тяжело, не всем хватало здоровья и времени, проведенного на воле, а не за решеткой.

Но Андрюхе до его главного в жизни разочарования было еще далеко. Паренек не предполагал, что в тот самый момент, когда с трудом достигший вожделенного горизонта человек пересекал намеченную черту, перед ним раскрывались новые манящие перспективы, а мчаться дальше в надежде разорвать грудью очередную финишную ленточку, коварно колеблемую ветром, мало у кого хватало воли и возможностей. Чернышев пока усвоил одно: только тот, кто находил в себе силы резко рвануть вперед, выделялся из общей массы и входил в касту избранных. «Хочешь жить — умей вертеться». Это было принципиально, это являлось водоразделом, делившим сограждан на «всех» и «людей». И если «простому советскому человеку» желанный набор благ доставался лишь пред пенсией или у крышки гроба, то фартовые искатели приключений благодаря своей предприимчивости получали квартиру-машину-дачу легко и просто, а далее приступали к построению подлинно красивой жизни.

Не смущало юношу даже то обстоятельство, что романтика приобретательства часто противоречила не только общепринятым установлениям, но и юридически закрепленным нормам. Напротив, казалось, что такой конфликт с обществом и государством добавлял перца в жизнь «людей», заставлял становиться еще более изощренными. Первокурсник Андрей Чернышев, имевший отсрочку от службы в армии по состоянию здоровья, отчетливо понимал, что изучение правил советской торговли годится для одетых в костюмчики-самостроки неудачников, прячущих заначки в склеенных из дерматина портфельчиках; а чтобы сравняться с «людьми», следовало преподаваемые в техникуме принципы цинично нарушать.

Пока же дебют партии с судьбой разыгрывался не в его пользу: ни дачи, ни квартиры в личном распоряжении студента не находилось, и не предвиделось. Вот с третьей частью знаменитой триады — автомобилем — неожиданно повезло. Был у Чернышевых старый-престарый родственник, глухой, как пень, одинокий ветеран. Какие-то там подвиги за ним числились во время войны, какие-то награды он имел особенные. Узнав, что таким вот дедам (при наличии определенных медицинских показателей) положено выделять автотранспорт для их инвалидских нужд, Андрюха энергично взял старика в оборот. Приходилось чуть не за ручку водить одряхлевшего героя по разным инстанциям, высиживать часами в приемных, писать кипы бумаг, обещать ответственным товарищам отблагодарить... Наконец, «наверху» было принято решение выделить орденоносцу «Запорожец».

Дед, видимо, так и не понял, что происходило вокруг него за месяцы хождения по присутственным местам, поликлиникам и больницам, впрочем, сносил все безропотно, полагая, что так надо, что начальство в курсе дела, а родня во всем разбирается. Он привык к тому, что время от времени его куда-то вызывают, что-то вручают, с чем-то поздравляют, и не всегда интересовался значением и смыслом очередной полученной бумажки. Старый солдат редко снисходил до общения с окружавшими его мелкотравчатыми невротиками, не нюхавшими порошу, тем более что докричаться до них, бестолковых, стало труднее, чем некогда перекрыть голосом рев канонады, под-

нимая в атаку бойцов. Гораздо милее толковать со своими ребятами из полегшего подо Ржевом взвода. С ними, обитающими в вечности, не знающими суетных забот текущего дня, он подолгу обстоятельно и тихо беседовал на холостяцкой кухоньке за кружкой крепкого чая. Старика хорошо было сидеть с боевыми друзьями в их общем послевоенном абсолютном безмолвии, а носиться за каким-то рожном вперегонки с сопливой молодежью... Во всяком случае, до кончины своей он ни разу не высказал желания куда-нибудь поехать на дарованном автомобиле, и Андрюха оказался единственным и полноправным владельцем «Запорожца».

После смерти престарелого родича удалось продать непрестижную колымагу и добавив к вырученной сумме выпрошенные у матери деньги, приобрести уже «Жигули», после чего Чернышев-младший оказался в своем учебном заведении самым популярным студентом, с которым стремились свести знакомство парни, к которому тянулись девчата. Новая машина стала любимой забавой будущего Отличника советской торговли, заботливо улучшаемой и трепетно украшаемой игрушкой, предметом гордости и постоянных забот. В тольяттинской «ладушке» со временем все стало в точности, как у «людей»: магнитофончик, мохнатые чехлы на сиденьях, оплетка руля... В ту пору автомобиль заменял своему хозяину и дом, и дачу, и верхнюю одежду, и портфель, был передвижной конторой и клубом. Отныне в «Жигулях» проходила жизнь.

Андрюха уже считал себя бывалым студентом и опытным автомобилистом, когда в положенный срок вернулся из армии брат. Вернулся какой-то чужой, резкий, колючий. Мать и отец хлопотали, чтобы помочь Ярославу занять хорошее место в мирной жизни, дать ему возможность зарабатывать, не меньше, чем остальные. Но Ярослав с каким-то даже бахвальством раз за разом отказывался от всех предложений.

Андрюха недоумевал:

— Ты чего? Больно гордый? Даже отец со знакомыми договаривался насчет тебя. Он бы никогда ни за кого другого не попросил бы, а тебя уважает. Мать всех нужных людей подключила! Как же не воспользоваться?!

Брат ухмылялся:

— Это зачем? Чтобы денег много было? Не о том ты, братишка, думаешь. Я что... без денег хуже стану?

Потеряв надежду увидеть сына живущим в достатке уважаемым тружеником, растерянные родители изменили тактику. Теперь они насели на Ярослава, чтобы тот непременно поступал в вуз, ведь его афганские «льготы» открыли бы перед ним двери самых престижных институтов. Но и перспектива получения высшего образования не влекла «дембеля», он по-прежнему отмахивался от любых советов, упорно не пуская никого в свою приватность: за время службы сержант Чернышев настолько отвык от семьи, что близкие по крови люди представлялись ему самыми что ни на есть дальними, не способными ни к пониманию, ни к сочувствию.

Ярослав оформился ночным сторожем, а днями валялся на диване за чтением: много интересного стали печатать в газетах и журналах, на общество обрушилась лавина ошеломляющих, ранее запрещенных книг.

Раз в месяц, с зарплаты, Ярослав неизменно покупал бутылку водки, зазывал Андрюху на кухню: «Посидим, братишка?» Младший из Чернышевых, конечно, соглашался, хотя каждый раз чувствовал себя на этих посиделках участником непонятного, вызывавшего отторжение ритуала: первая рюмка выпивалась молча и стоя, не чокаясь, третья обязательно поднималась «за тех, кто в сапогах», а потом непременно следовал самый неприятный момент, когда Ярик начинал допытываться: «А ты, стало быть, от армии отшланговал? Ну, и как тебе теперь? Нормально?» Андрюха не знал, что отвечать... даже не на сам вопрос, а на скрытую угрозу-претензию, звуча-

шую в нем. Впрочем, брат и не настаивал на ответе, он наливал еще по одной, подмигивал: «Ну, что? Споем, братишка?» И, опять не дожидаясь ответа, затягивал незнакомое:

*«Каскадеров» я пошла смотреть
И стояла, скривившись за мечеть.
Вдруг идет навстречу мне один
Синеглазый молодой блондин...*

В их старую кухню, такую привычную, знакомую до каждой трещинки на потолке, до каждого отклеившегося уголка обоев, незваными гостями входили чудные слова, выцветшие под знойным солнцем чужих стран и покрытые пылью дальних походов — «шурави», «бача»...

— Чего не подпеваешь? Не знаешь ты таких песен,— быстро хмельавший Ярик всерьез огорчился по этому поводу.— Ну, давай другую подхватывай... Эту ты должен знать: «Нам нет преград ни в море, ни на суше, нам не страшны ни льды, ни холода...» Тоже не знаешь? Ну как же! «В буднях великих строев в своих дерзаниях всегда мы правы...» Так, кажется? Так вот, это — комплекс неполноценности. Мы все время доказываем миру, что мы правы, что мы не хуже, чем они. Ну, разве не сума-шествование? Эти вечные потуги догнать и перегнать... Сколько можно! И дело тут не в социализме, дело в младенческом состоянии нации. Еще когда было сказано: докажем, что «может собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов российская земля рождать». И по сей день орем: может! Платонов — безусловно, может. Никто уже не сомневается. А вот Невтонов... Почему, интересно, Англия не заявляет, что может рождать быстрых разумом Ломоносовых?

Андрюха спешил под каким-нибудь предлогом выскользнуть из кухни. Да и вообще он теперь старался как можно реже общаться с братом, поскольку жизнь вокруг менялась бурно, интересно, непредсказуемо: возникали новые веяния в политике и экономике, появлялись новые модели автомобилей, завязывались новые нужные знакомства. От этого дух захватывало у студента, избравшего темой своей дипломной работы соблюдение принципов социалистической законности в советской торговле. Впрочем, ученический период жизни завершался, настала пора заняться собственным делом. По окончании техникума молодого специалиста Чернышева распределили на работу в столовую № 35. Вот тут бы и проявить себя, вот тут бы и развернуться, тут бы и применить на практике усвоенные в коммерческом училище премудрости, однако наработанные за годы учебы связи не помогли начать трудовую деятельность с тем размахом, на который Андрюха рассчитывал. Дело было в том, что вся общепитовская братия замерла, ожидая, чем обернется для нее объявленный руководством страны курс на создание частных предприятий.

Кто-то из сферы, столь двусмысленно именовавшейся на казенном языке сферой обслуживания, кто-то опытный и богатый (не чета Андрюхе, но так же, как и Андрюха, в свое время восхищавшийся Адыловым) попробовал осторожно засветить толику своих денег, малюсенькую их частичку, которую не жалко было бы потерять. «Посмотрим, что из этого выйдет»,— решил рискованный «цеховик». «Посмотрим, что у него выйдет»,— решили другие «теневики», наблюдавшие за смельчаком. И ничего плохого таки не вышло! Похоже, власть, в самом деле, не собиралась обманывать тех, с кем еще вчера упорно боролась, а давала возможность советским бизнесменам спокойно приумножать прибыли.

И когда «деловые люди» уверились, что ничего дурного с ними не случится, то тут, то там, как проталинки ранней весной, стали появляться полулегальные на первых порах заведения. В одном месте кооператив пригнулся у корня могучего админи-

стративного дуба, в другом — приотился на миллийском пригорке... А потом, когда прогнозы сошлись с приметами, когда стало понятно, что холода не вернутся, дружно взялось по всей стране, и посеревший, незреватый покров социалистической собственности сошел на нет, обнажив скопившийся за зиму мусор и прошлогоднее дерьмо. Так началось кооперативное движение. Ветвась, раздаваясь вширь, бодро и настойчиво тянулись к солнцу некогда чахлые и хилые, бледные и неказистые ростки «многоукладной экономики».

Чернышев внимательно присматривался к дразнившим новизной и выгодой процессам, происходившим в народном хозяйстве, старался примерить на себя роль гордого первопроходца индивидуальной предпринимательской деятельности. Чтобы ближе познакомиться с этим невиданным ранее явлением, предпринял поездку на столичный Рижский рынок, где, по слухам, можно было купить все — «от звезды до самолета». Брат, провожая его, саркастически напевал на мотив модной тогда песенки: «На Рижском рынке воздух свеж, там бродит ветер моих надежд...»

Известное всей стране торжище поразило Чернышева своей несуетливостью. Стоило ступить за хлипкую ограду из покореженных металлических прутьев, и посетитель оказывался в чуждом нашему человеку мире чистогана и изобилия. Если государственные магазины стыдливо прикрывали наготу прилавков какой-то случайной дребеденью, то на базаре ассортимент товаров с непривычки казался даже избыточным и все радовавшее глаз разнообразие продукции манило яркими ярлычками и приятно шелестевшей упаковкой. Для выросшего при тотальном дефиците Андрюхи это оказалось настолько неожиданным, что он какое-то время бестолково метался среди торговых рядов, словно провинциал в музее, чтобы только насытиться возбуждающей нервы пестротой и осознать реальность внезапно открывшейся возможности выбора. Хотелось сразу и все скупить, унести с собой за забор в скучную действительность немного праздничной стихии рынка.

И только чуток пообвыкшись на толкучке, Андрюха уяснил, почему до сих пор эти редкостные товары веселой стайкой вестников экономической свободы не разлетелись по всей стране. Магнитом, удерживавшим столь дивное собрание образчиков изделий кооператоров в одном месте, была противоречившая здравому смыслу стоимость. Эх! Если бы не цены, высотой превосходившие Кавказские горы! Ничто другое не могло бы остановить советского человека от припадка неконтролируемого присвоения себе всего, что видит око или ймет зуб.

Уж на что ушлым малым был Чернышев, а и тот с искушением изобилием не справился, наивно предположив, что «ненашенское» разнообразие базарного барахла непременно сочетается с импортной доброкачественностью. У золотозубой цыганки Андрюха приобрел тенниску с отложным воротничком, а также лампасные шаровары из материала, который при малейшем прикосновении тихонько шуршал на иностранном языке. И хотя уже в момент купли-продажи интуитивно угадывалось, что товар на самом деле — дрянь (так оно и оказалось впоследствии: тенниска обернулась при ближайшем рассмотрении перелицованной майкой, а вызывающе широкие «треники», в которых парень щеголял вечерами на проспектах и в ресторанах родного города, бессовестно полиняли при первой же стирке), Андрюха все равно был доволен покупками, пусть на несколько дней, но позволившими ему четко обозначить принадлежность к разряду «людей».

А главный урок по предпринимательству Чернышев получил уже перед отъездом домой, когда зашел перекусить в вокзальной забегаловке. Почти весь общепит в Москве в те поры без боя сдался кооперативам, вот и на вывеске над чебуречной в здании крупнейшего в Европе вокзала означено было: «Кооп». Андрюха стал в очередь (много было проголодавшихся), которая в чуть замедленном темпе продвигалась к

пышущему жаром прилавку, и поразился ее отличию от знакомого до боли советского «хвоста», безалаберного и бесформенного, то ходкого, то замиравшего по непонятным причинам. Кооперативная очередь выстроилась ровно, изгибалась под прямым углом и двигалась хотя и неспешно, но ритмично. Юный товаровед живо смекнул, что освоившиеся в рыночной стихии столичные коллеги всеми силами стараются пропустить через свое заведение наибольшее количество посетителей. Андрюха даже смог рассчитать, сколько минут понадобится ему, чтобы получить горячий чебурек. «Или пару взять?» — раздумывал он, когда внезапное происшествие затормозило движение отлаженного механизма.

Деловой гул торгового зала перекрыл вдруг неожиданно эмоциональный, искренний до надрыва возглас. Какой-то парень, ровесник, похоже, Андрюхе, в запале кричал покупателям: «Вы посмотрите, что они продают!» При этом, далеко отставив руку, он демонстрировал всем разверстый дымящийся чебурек. Видимо, приобретя его, нетерпеливый молодой человек, не отходя от прилавка, с аппетитом вцепился зубами в долгожданную еду, резко рванул челюстью горячую шершаво-пупырчатую плоть чебурека, отчего тесто разошлось и обнажило нечто поразившее едока, поразившее настолько, что он решил незамедлительно поделиться с окружающими своим неприятным открытием. Оказалось, что румяная, поджаристая корочка имела болезненно-бледную, явно непропеченную изнанку. Мало того, на склизком мучнистом лопухе вскрытого чебурека вместо ожидаемой горки сытной начинки помещался более чем скромный кусочек фарша. Оттеняя его сиротскую неприязнительность, из серовато-розового комочка торчала чахлая бледно-зеленая стрелочка лука.

Картина была неприглядная. То, что кооператоры намеревались скрыть от глаз клиентов, то, чему надлежало быть переваренным желудками посетителей чебуречной втемную, по досадной случайности предстало вдруг на белый свет со всем отгалкивающим реализмом, с физиологичной достоверностью, в равной мере разочаровав и продавцов, и покупателей.

«Видите? Видите, чем они нас кормят?! — вопрошал правдоискатель. — За чем вы стоите? За что платите? Такой же хотите?»

Никто ему не ответил. Сбившиеся в очередь голодные, измотавшиеся за суетный день в чужом огромном городе гости столицы избегали смотреть в глаза настойчиво-му обличителю, отворачивали головы, как кони, которых ругает хозяин.

В чадном воздухе чебуречной столкнулись и аж закрикли две энергии — энергия взрыва и энергия статики; в брызгах кипящего прогорклого масла боролись воля к справедливости и воля к сытости: паренек, отпугивая покупателей, хотел наказать обманувших его торгашей; а те, кто ожидал пищи, хотели есть. И, глядя им в лица, беспокойный молодой человек постепенно осознал, что победа будет не за ним, что его импульсивный порыв увяз и растворился в индифферентной среде понурых молчунов: раз в ответ на взволнованные слова не последовало немедленной экспансивной реакции, значит, в ход пошла рефлексия, и вряд ли трюк с разоблачением чебурека повлияет на поведение толпы. В душе парня росли обида, раздражение, даже гнев, но теперь он готов был обрушиться уже на людей по нашу сторону прилавка, всего мгновение назад казавшихся союзниками.

Стоящие в «хвосте», конечно, понимали правоту юного активиста, однако не спешили проявлять солидарность. В другой ситуации под влиянием наглядного разоблачения недобросовестности кооператоров их клиенты, может, и отправились бы на поиски более подходящей харчевни, но ноги, свинцом налитые ноги, гудящие от натуги ноги отказывались сделать лишний шаг. Да и вряд ли найдется на вокзале место, где лучше кормят... Лень, усталость, укоренившаяся в поколениях привычка к посредственным кушаньям, иррационально оптимистическая надежда на то, что лишь

одному из всех достается некачественный продукт, а остальных минует сей жребий,— все это сделало случайно собравшихся здесь едоков неожиданно стабильной и прочной общностью, не лишенной даже патриотизма по отношению к своей чебуречной.

При всем том каждым, безусловно, ощущалось, что его поведение однозначно является оппортунизмом. Ренегаты-очередники предавали 1 Мая и 7 Ноября, предавали взаимовыручку и коллективизм, предавали моральный кодекс строителей коммунизма, в котором сказано: «Человек человеку друг, товарищ и брат». И вот их друг, товарищ и брат бессильным вопросительным знаком один торчит на заплеванном шелухой от семечек полу привокзального буфета, стирая к ним руку с зажатыми лохмотьями чебурека, а они подло бросают его, не только не поддержав, но даже не посочувствовав ни словом, ни взглядом. Низко и мерзко! Стыдней же всего было людям оттого, что они совершали предательство не под угрозой какой-либо расправы, а только из желания набить брюхо! Однако ни один не вышел из очереди.

Молодой человек, тщетно зывавший к гражданским чувствам выстроившихся вереницей изменников, все еще глядел им прямо в глаза, но теперь уже молча. Видно было, как его юношеская вера в людей отлетала в небытие, словно легкий парок, источаемый внутренностями растерзанного чебурека, стывшего в руке, упрямо тянувшейся в пустоту. Потом правдоискатель в сердцах швырнул свою злополучную попку в бачок для мусора и выскочил прочь.

Всем сразу стало как-то легче. Посрамленные было кооператоры распрямили согбенные грузом справедливых обвинений плечи, принялись вновь проворно продвигать очередь и даже начали привычно покрикивать на замешкавшихся с заказом или при расплате посетителей. Клиенты же, получившие вожделенную порцию, вначале осторожно надкусывали чебурек, с опаской заглядывали внутрь, но потом, подстегаемые голодом, отбросив приличия и сомнения, торопливо жевали, жадно заглатывали пищу, не разбирая ее вкуса. Не слыша более возмущенных восклицаний, успокоились и те, кто стоял подальше от раздачи. Вскоре общепитовский конвейер опять заработал в оптимальном режиме.

Андрюха, оказавшийся свидетелем этого происшествия, сделал для себя лично значимый вывод: очень важно вовремя накормить человека. Да и вообще, пищеварение... Низменная, казалось бы, тема, о которой чистоплюи предпочитают не вспоминать, считая позором оказаться в рабстве у желудка. А напрасно, ведь желудок подчас громогласнее сердца или мозга диктует нам, как поступать. Желудок — надежный якорь человечества, удержавший его от многих глупостей и срывов. Когда мозг отказывается понимать, когда сердце разрывается от боли, желудок продолжает вырабатывать свой сок, и человек дисциплинированно становится в очередь за едой. Слава тому, кто наполнит наш желудок! Могут меняться общественные формации и политические режимы, но основательное отношение к своему пищеварению человек оценит всегда. В каменном веке и в веке атомно-космическом люди одинаково злобно рычат на того, кто отнимает у них пищу, и одинаково признательны тому, кто пищу дает. Честно говоря, именно желудок в итоге переваривает всевозможные философские идеи, эстетические концепции, этические формулировки. И вот — они утилизированы и отторгнуты, а желудок остался и готов к новой работе. Чрево — разгонный блок прогресса, его основной элемент. За безмятежность своего чрева человек согласен платить, многим жертвовать.

Чернышев вернулся из столицы в родной город, вдохновленный этим рассуждением, решительно настроенный действовать. Уже через три дня он осматривал на местной автостанции закуток, где разместится его чебуречная (частная! собственная!). Были пущены в ход все налаженные в прежние годы связи: «нужные люди»

помогали по многим вопросам, начиная с оформления документов и заканчивая поставками сырья. Но в первую очередь Андрюха все-таки рассчитывал на родителей. Родители были его самым надежным капиталом, самым снисходительным банком с нулевой процентной ставкой, с эксклюзивными условиями займа (собственно, можно было деньги и не возвращать). Да и «нужные люди» — это, главным образом, коллеги матери по тресту столовых. Впрочем, бывшие отцовские воспитанники тоже пришлось как нельзя более кстати начинающему «частнику»: спортсмены в те годы все чаще и безогляднее становились боевиками бандитских группировок, а когда бандюки узнавали, что Чернышев — сын их тренера, относились к его предприятию с какой-то надрывной заботой, иногда даже бесплатно защищали от «наездов» распоясавшихся «качков» из конкурирующих группировок.

Андрюха и брату предлагал войти в долю. Тут родственные чувства соединились с прагматичной заботой о становлении бизнеса, поскольку бывшие «афганцы» успешно отвоевывали позиции в схватках за собственность: порой они сами, пользуясь предоставленными государством льготами, становились частными предпринимателями, но чаще брали на себя функции народного контроля. Неподкупные, не боявшиеся никого и ничего отставники азартно разоблачали как вороватых коммерсантов, так и нечистых на руку руководителей государственных магазинов. Бывшие интернационалисты готовы были снова идти в бой, в бой с хапугами, в бой за общее дело, за справедливость, за честность. Правда, среди «афганцев» находились и такие, кто видел в нуворишах лишь дойных коров, а в их лабазах — подобие ротных каптерок, подлежащих разграблению на радость «дембелей». В ресторанах, которые Андрюха полюбил посещать, став кооператором, он часто встречал ватаги, отмечавшие успех после очередного рейда по торговым точкам. Странные это были компании. Со своими традициями, с известной очередностью тостов, с непоколебимым осознанием того, что никто вокруг, кроме сидящих за их столом, не сумеет постичь всю сложность души, дотла сожженной азиатским солнцем и в прах выветрившейся под порывами суховея. Казалось, пирующие воины лишь минуту назад вышли из боя. Вот только в чьей армии они сражались?

Должно быть, именно так, подпирая друг друга могучими плечами, сидели в ближневосточных кабачках крестоносцы, кичившиеся святостью их общей миссии, и кутили на деньги, полученные в качестве выкупа за какого-нибудь сарацина, или меляны-христопродавца, или даже за своего брата рыцаря... Должно быть, с таким же веселым возбуждением разливали по кружкам эль благородные разбойники Робин Гуда... Должно быть, так же дружно сдвигали чаши с ромом в тавернах Карибских островов висельники-флибустьеры, джентльмены удачи... Должно быть, так же грозно затягивали боевые песни казаки Стеньки Разина, готовые сложить свои буйные головы ради чести бедовой вольницы и ради правды для всех православных...

Короче говоря, человек, который был бы своим для этих суровых витязей избирательной справедливости, в Чернышевской чебуречной явно не помешал бы, поэтому Андрюха снова и снова настойчиво приглашал брата принять участие в «семейном деле». Но Ярослав с присущей ему иронией отшучивался:

— Ну, что ты! Ну, какой кооператив... Я привык работать по старинке. Я привык за свою работу получать не премии, а почетные грамоты. Кооператив может мне дать почетную грамоту?

(Продолжение следует)